

Из
de МОШАССАН

Лунный свет



Ги де Мопассан
Лунный свет (сборник)

«ЛитПаб»
«ФТМ»

де Мопассан Г.

Лунный свет (сборник) / Г. де Мопассан — «ЛитПаб», «ФТМ»,

ISBN 5-699-17059-6

Блестящее писательское дарование Ги де Мопассана ощутимо как в его романах, так и самых коротких новеллах. Он не только описывал внешние события и движения человеческой души в минуты наивысшего счастья или испытания. В романе «Наше сердце» Мопассан исследовал мистическую природу Зла, нередкую нелогичность и необъяснимость человеческих поступков. А каждая новелла Мопассана – это точная зарисовка с натуры, сценка из жизни, колоритный образ мужчины или женщины, молодежи или стариков, бедняков или обитателей высшего света.

ISBN 5-699-17059-6

© де Мопассан Г.

© ЛитПаб

© ФТМ

Содержание

Ги де Мопассан: из света жизнелюбия в сумерки безумия	6
Наше сердце	20
Часть первая	20
I	20
II	34
III	41
Часть вторая	46
I	46
II	62
III	72
IV	78
V	83
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Ги де Мопассан Лунный свет (сборник)



Ги де Мопассан

(1850 – 1893)

Ги де Мопассан: из света жизнелюбия в сумерки безумия

«Я ворвался в литературу как метеор – я исчезну из нее с ударом грома».

Ги де Мопассан

В декабре 1891 года сорокалетний писатель Ги де Мопассан, любимец публики и женщин, пишет: «Мне кажется, что это начало агонии... Голова моя болит так сильно, что я сжимаю ее ладонями и мне кажется, что это череп мертвеца [...] Я поразмыслил и окончательно решил больше не писать ни рассказов, ни новелл; все избито, кончено, смешно»... Мало кто из его знакомых и друзей мог бы предположить, что такие строки выйдут из-под пера Мопассана, который сам себя называл «гурманом жизни», – этого любителя розыгрышей, веселого общества и физических нагрузок, с неутомимой энергией в течение десяти лет производившего на свет одно произведение за другим. Лишь немногие обращали внимание на склонность Мопассана к меланхолии («печальным бычком» называл Мопассана критик Ипполит Тэн); замечали, вероятно, и то, что писатель иногда жаловался на здоровье и часто бежал от светского шума, будь то общество Парижа или Ниццы. Но наблюдения эти тонули в славе покорителя женских сердец, репутации трезвого скептика, анекдотах о его проделках, а главное – в неимоверном потоке замечательнейших рассказов и романов, который, казалось, не иссякнет никогда.

Но знакомые Мопассана не в первый раз ошибались на его счет: десятью годами ранее парижские литераторы не могли разглядеть в нем и тени таланта. Молодого Мопассана хорошо знали благодаря его неизменному присутствию на воскресных обедах Флобера, на которых бывали Альфонс Доде, Эдмон де Гонкур, Иван Сергеевич Тургенев, Эмиль Золя. Именитые гости Гюстава Флобера пока видели в Мопассане только здорового и жизнерадостного юношу из Нормандии, скромного министерского служащего, единственным серьезным опытом в жизни которого была недавно закончившаяся Франко-прусская война. Мопассана не выделяло ничто, кроме особой, почти отеческой привязанности великого писателя. Еще долгое время люди неосведомленные считали Ги де Мопассана племянником Флобера (ходили слухи и о тайном отцовстве), но никто не задумывался, что Мопассан может стать его учеником и преемником.

В действительности Ги де Мопассан не приходился Гюставу Флоберу племянником, но между семьями Мопассана и Флобера существовала более тесная связь, чем между многими родственниками. Лора де Мопассан, в девичестве Ле Пуатвен, знала Гюстава Флобера с детства: это был самый близкий друг ее брата, Альфреда. По сути, дружба двух семей началась на поколение раньше, и дети росли вместе: особый мир существовал в бильярдной дома Флоберов, на веранде дома Ле Пуатвенов в Руане. Альфред, который был старше Гюстава Флобера и сестры Лоры на пять лет, рано заинтересовался литературой, освоил латынь и английский; младшие тянулись за ним. Юные Альфред и Гюстав писали пьесы, в то время как Лора, при помощи маленькой Каролины Флобер, кроила и шила костюмы для домашних спектаклей. Подрастающий Гюстав Флобер и Ле Пуатвены много читали, испытывали жажду творчества, верили в Искусство и Красоту. Годы дружбы с Альфредом Ле Пуатвеном остались в памяти Флобера как яркие, наполненные особым внутренним смыслом. Но затем последовал отъезд Альфреда на учебу в Париж, его женитьба на Луизе де Мопассан, болезнь и ранняя смерть. Лора де Пуатвен и Гюстав Флобер остались навсегда связаны воспоминаниями о рано умершем брате и друге.

Лора Ле Пуатвен, выросшая в обществе одаренных и мыслящих молодых людей, слыла девушкой эксцентричной: она ездила верхом, читала Шекспира в оригинале, курила. Для дочери нормандских буржуа, она имела необычайно широкий кругозор, богатое воображение и нервную натуру; независимость ее характера часто принимали за высокомерие. Лора Ле Пуатвен отказала нескольким претендентам, прежде чем согласиться на брак с красавцем Гюставом де Мопассаном (незадолго до этого ее брат, Альфред, женился на сестре Мопассана, Луизе). Избранник Лоры, тезка и ровесник Флобера, хотел стать художником (именно эта профессия значилась в 1840 году в его паспорте), но после трех лет учебы в Париже Гюстава де Мопассана поразила глазная болезнь. Флобер, считавший, что недуг происходил не от неумеренного усердия к живописи, со смесью жалости и иронии писал сестре: «Он как все великие художники: „умер молодым, оставив неоконченные картины, внушавшие большие надежды“». Однако Гюстав де Мопассан умер лишь для искусства. Флобер немного подтрунивал над зятем лучшего друга, которого он прозвал „желторотый птенец“ за некоторое легкомыслие и фатоватость. Так, неудавшийся художник, а ныне рантье, явно не был безразличен к атрибутам аристократического происхождения: благородная частица „де“ исчезла из его фамилии после революции, но Гюстав де Мопассан отстоял в суде право вернуть ее. Так или иначе, именно он стал избранником Лоры Ле Пуатвен. Молодые совершили путешествие в Италию и обосновались в замке Миромениль, неподалеку от Дьеппа. Что касается слухов об отцовстве Флобера, то они малообоснованны: задолго до того, как для Лоры де Мопассан началось ожидание первенца, великий писатель отбыл в долгое путешествие на Восток.

Итак, Анри Рене Альберт Ги де Мопассан, первенец Гюстава и Лоры де Мопассан, действительно родился в Нормандии, в особенном краю, где запахи земли – пастбищ и яблочных садов – смешиваются с солоноватым морским ветром. Рассказывали, что доктор, принимавший роды, жестами скульптора обмял голову младенца и придал ей особенную круглую форму, приговаривая, что это непременно даст ему быстрый ум. Океанское побережье, с его пляжами и живописными отвесными скалами, было всего в десятке километров от Шато-Блан – первого жилища, сохранившегося в детских воспоминаниях Ги де Мопассана. Это было «одно из тех высоких и просторных нормандских строений, напоминающих одновременно ферму и замок, построенных из посеребрившегося белого камня и способных приютить целый род...». Вскоре у Мопассанов родился второй сын, Эрве, но счастье в семье было шатким: Гюстав де Мопассан скучал с женой и детьми и по-прежнему слишком интересовался женским обществом...

Семья часто выезжала в прибрежные городки – в Этрета и Гранвилль, в Фекан, где жила бабушка Ги. В гости к госпоже Ле Пуатвен привозили и маленькую племянницу Флобера, Каролину. По ее воспоминаниям, вид у маленького Мопассана был «отчаянный и взъерошенный». Несмотря на то что Каролина была на четыре года старше, в играх она всегда подчинялась указаниям мальчика: он решал, что скамейка на газоне – это корабль, и твердым голосом командовал: «Лево руля, право руля, спустить паруса». Настоящий будущий мореплаватель. Дети вместе искали всевозможных зверьков, птиц и насекомых, и Ги пугал бабушку и приглашенных дам пойманными пауками. Каролина пишет: «Он, однако, не был злым ребенком, но был избалован и необуздан, со странными капризами, такими, как, например, нежелание есть. Если ему рассказывали истории, он решался, или же я была рядом и болтала, чтобы его развлечь; и тогда он ел не задумываясь...» Иногда капризы Ги были менее заурядны и выдавали необычайную прозорливость мальчика. Так, однажды Ги потребовал от отца, чтобы тот обул его, – иначе он отказывался ехать на детский праздник. И мальчик добился своего: он, верно, догадывался, что отец втайне не прочь оказаться на этом утреннике, в обществе молодых женщин...

Переезд семьи Мопассан в Париж окончательно разрушил супружеские отношения. Ги с прежним дьявольским лукавством комментировал поведение отца: «Я был первым по сочинению: в награду мадам де Х. отвезла нас с папа в цирк. Кажется, что она награждает и папа,

но я не знаю за что». Гордость Лоры де Мопассан не позволяла ей жить под одной крышей с человеком, полностью потерявшим ее уважение и доверие. Ги было десять лет, когда мать увезла обоих сыновей обратно на нормандское побережье, в городок Этрета. Еще два года спустя развод был оформлен окончательно. Отец имел право видеться с детьми и в любое время приезжать в дом жены. Маленькая семейная трагедия, несомненно, наложила отпечаток на представления Ги о браке и отношениях между мужчиной и женщиной, а вот возвращение в родные края оказалось для мальчика счастьем: дом с просторным садом, море, меловые скалы и обнажаемые отливом пляжи... В то время Этрета перестал быть заурядным рыбацким городком. Знаменитая скала в форме арки и другие живописные виды привлекли внимание художников, а затем и богатых отдыхающих: парижане стали приобретать в Этрета виллы и коттеджи, снимать дома на лето. Пейзажи, среди которых прошло детство Мопассана, станут любимым местом работы художников-импрессионистов – и фоном многих произведений будущего писателя.

Лора де Мопассан полностью посвятила себя воспитанию сыновей: она занималась с ними не меньше, чем их учителя, и прививала детям любовь к литературе, поэзии, театру. Присланный Флобером экземпляр «карфагенского» романа «Саламбо» Лора читала вслух вечерами и так передавала реакцию сына в письме автору: «Твои описания [...] зажигают молнии в его черных глазах, и мне действительно верится, что шум битв и крики слонов звучат в его ушах». Лору де Мопассан радовала восприимчивость сына и его успехи в учебе. С другой стороны, она считала нужным давать детям свободу и возможность расти на вольном воздухе, а не в тепличных условиях. Мать позволяла Ги выходить в море с местными рыбаками на целый день, играть с детьми крестьян. Ги де Мопассан рос здоровым, румяным, крепким и ловким – лучшим в гимнастическом зале и в лазании по скалам. Особое чувство справедливости Мопассана проявлялось в отношении к «простонародным» друзьям. Однажды, когда Ги собрался на прогулку с двумя друзьями – сыном рыбака и мальчиком из приличного общества, – мать последнего объявила, что корзину с провизией понесет маленький рыбак. Мопассан ответил: «Мадам, мы понесем корзину по очереди; я буду первым!»

Вскоре возможности домашнего образования были исчерпаны, и Лора де Мопассан приняла решение отправить сына в лицей Йвто: строгое религиозное заведение, дававшее отличное классическое образование и отличавшееся аскетизмом и железной дисциплиной. Мопассан учился довольно прилежно и терпеливо переносил скуку и суровый режим, сочиняя первые стихи и мечтая о каникулах в Этрета: о том, как на скопленные деньги он купит у местных рыбаков настоящую лодку и получит от матери томик Расина в подарок за хорошую учебу. Каникулы проходили на воде, причем Мопассан часто складывал весла и открывал книгу, доверяя контроль над курсом верному псу. Эту подростковую страсть к литературе и водным прогулкам будущий писатель сохранил навсегда.

Во время одной из таких прогулок Мопассан впервые соприкоснулся с миром литераторов. Мальчик завидел с берега утопающего и бросился на помощь. Спасенным оказался английский поэт Алджернон Суинберн, а благодарностью за искренний порыв стало приглашение в дом эксцентричного литератора. Этот визит надолго сохранился в памяти Мопассана со всеми его тревожными и мрачными деталями: прыгающей по дому обезьяной, высушенной рукой мертвеца – любимой игрушкой хозяина, упоминаниями о маркизе де Саде... Повторных приглашений юный Мопассан не принимал, но через несколько лет, во время распродажи имущества Суинберна, купил ту самую странную безделушку, которая дала название одной из его первых новелл – «Рука».

Возвращение в лицей становилось с каждым разом все мучительнее. «В нем пахло молитвой, как пахнет рыбой на рынке», – писал Мопассан, и где-то в этих стенах, среди бесстрастных священников, зародился внутренний бунт Мопассана против религии и Бога. Вскоре мальчишеская жажда воли выразилась в том, что лицеисты организовали тайное общество под назва-

нием «Оазис», в негласный устав которого входило обязательное чтение «скандальной» литературы («Новая Элоиза» Вольтера, «Опасные связи» Шодерло де Лакло и, возможно, книги маркиза де Сада), а также внесение денежного пая на покупку шампанского, вин, сладостей. Однажды «кружковцам» удалось завладеть ключами от кладовой: все захваченные горячительные напитки были перенесены на крышу, и мальчишки веселились до самой побудки – до четырех утра... Эта проделка привела к раскрытию «тайного общества», и все его участники были исключены. Ги наконец обрел свободу.

Обучение, однако, необходимо было окончить, и Лора записала восемнадцатилетнего Ги в Руанский королевский лицей. В Руане робеющий Мопассан решился представиться поэту Луи Буйле, близкому другу и «литературному советчику» Флобера, не признанному Литературной академией, но почитаемому кучкой пылких юношей. В ту пору Мопассан встречается и с Флобером: в одном из писем великий романист сообщает Лоре де Мопассан о приятном впечатлении, произведенном на него молодым человеком, так похожим на нее и на покойного Альфреда. Но для того, чтобы это доброжелательное внимание выросло в настоящее покровительство и требовательное обучение писательскому мастерству, должно было пройти время. А пока молодой Мопассан испытывает робость перед Флобером и свои первые литературные опыты показывает Буйле: у него поэтическая пора, он рифмует без усталости и без разбора. Мудрый писатель преподает ему первый урок, неустанно повторяя, что для репутации поэта достаточно и сотни стихотворных строк, но безупречных, в которых выразилась бы вся самобытность его таланта. К несчастью, особый вес этому уроку придала скорая кончина Луи Буйле, потрясшая одновременно юного Мопассана, впервые потерявшего почитаемого учителя, и Флобера, оплакавшего еще одного близкого друга.

Вероятно, уже в эту пору Ги де Мопассан поверил в свое литературное призвание, но едва он успел записаться на факультет права в Парижский университет, как разразилась Франко-прусская война. Мопассан записался добровольцем в первые же дни войны – скорее ради возможности выбрать место службы и подразделение, чем из горячего патриотизма. Тем не менее он сначала принял на веру пламенные речи о предрешенности победы Франции, противоречившие реальному соотношению сил: прусская армия была оснащена и организована гораздо лучше. Последовало сокрушительное поражение при Седане. Сам Мопассан считал, что лишь закалка и привычка к пешим прогулкам спасли его от плена в 1870 году, во время отступления от Руана по направлению к Гавру. В тот день Мопассану было поручено доставить распоряжения интенданта из авангарда в арьергард. Он прошел пешком около 60 километров, переночевал на голом полу в ледяном погребе. «Если бы не мои быстрые ноги, меня бы, наверное, схватили», – писал он матери.

Мопассан осознал не только ужас оккупации родных мест, но и страшное разлагающее действие войны на людей. В сентябре 1871 года, после событий Французской коммуны, Ги де Мопассан ушел с военной службы. Много лет спустя он напишет: «Мы видели войну. Мы видели, как люди, озверевшие, обезумевшие, убивали из удовольствия, из страха, из хвастовства [...] мы видели, как расстреливали невинных, найденных на дороге и вызвавших подозрение, потому что они боялись. Мы видели, как убивали собак перед дверью хозяев, чтобы испробовать новые револьверы, мы видели, как расстреливали ради удовольствия коров в поле, без всякой причины, чтобы пострелять, чтобы посмеяться. [...] резали человека, защищающего свой дом, потому что он одет в блузу и на нем нет фуражки, жгли без колебаний несчастных, у которых больше нет хлеба, ломали мебель или ее крали, пили вино, найденное в погребах, насиловали женщин, найденных на улицах, сжигали до золы миллионы франков и оставляли за собой нищету и холеру».

Война внешне не сильно повлияла на жизнь Мопассана: она лишь отделила новый парижский период жизни от детства и юности, проведенных в Нормандии. Однако обучение на юридическом факультете Мопассан так и не продолжил. Гюстав де Мопассан, потерявший наслед-

ственную ренту, был не в состоянии обеспечивать сына. Отец еще некоторое время выплачивал юноше небольшое пособие и приложил все усилия, чтобы добиться для него должности в Министерстве морского флота и колоний. В это же время произошла первая настоящая беседа Мопассана с Гюставом Флобером после смутных детских эпизодов со сломанной трубкой и мимолетных встреч в Руане. Писателя до слез растрогало сходство Ги де Мопассана с покойным дядей, отзвуки знакомых интонаций в голосе и искреннее восхищение другим ушедшим другом, поэтом Буйле. Молодой человек воскрешал для Флобера целый потерянный мир; с тех пор их встречи и переписка не прекращались.

Новоиспеченный чиновник изнывал от монотонности служебных обязанностей, от невозможности видаться со светскими знакомыми и «работать» для себя, т. е. писать литературные произведения. Он считал, что служба отупляет его. «Я делаю меньше ошибок в вычислениях, а это свидетельствует о том, что я очень глуп», – иронизирует он в письме к Флоберу. Строгий покровитель, в свою очередь, подозревает, что от литературных трудов Мопассана отвлекает не столько служба, сколько стремление к развлечениям и любовь к физическим упражнениям. Молодой человек действительно проводил все свободное время в пригородах Парижа, занимаясь греблей на Сене, совершая пешие прогулки, катая на лодке девушек не очень строгих нравов... Все это на время заменяло радости жизни на океанском побережье, куда отныне Мопассану удавалось вырваться лишь в редкие дни отпуска.

Чтобы представить себе «министерского служащего» Мопассана в выходные дни, достаточно взглянуть на картину Огюста Ренуара «Завтрак гребцов»: не Мопассан ли это, усатый и загорелый, в соломенной шляпе-канотье и белой майке, стоит на террасе прибрежного кафе в обществе друзей и милостивых женщин? Ги де Мопассан никогда не был денди и мало заботился о собственном костюме. Единственным своим украшением он считал развитые греблей мускулистые руки, которые с удовольствием демонстрировал во время речных прогулок. Что касается роскошных усов – символа успеха у женщин, – то они появились, а вернее, остались на его лице после чрезвычайного происшествия. В октябре 1875-го Мопассан неосторожно склонился над свечой, борода загорелась... Проворно потушив пламя, молодой человек был вынужден сбрить обгоревшее украшение. С этого момента Мопассан ограничивается усами, что его совсем не портит. Надо сказать, что здоровый и цветущий вид Мопассана внушал уверенность в его полной заурядности и часто обманывал даже людей проницательных: по расхожему мнению, настоящий писатель конца века должен быть бледен, болен и измучен неврами...

Флобер тем временем наставлял Мопассана: «Нужно, слышите ли, молодой человек, нужно больше работать. Я начинаю подозревать, что вы порядочный лентяй». Загородные прогулки, однако, не были бесполезны для Мопассана-литератора: он слушал занимательные рассказы лодочников, наблюдал за пестрой публикой – буржуа, выехавшими на прогулку с дамами, крестьянами, матросами, железнодорожниками, прачками... В его стихах появились необычно смелые нотки и более свежие темы. К несчастью, легкомысленные мужские развлечения и загородные прогулки не только обогатили Мопассана бесценными наблюдениями и непосредственным знанием жизни: вероятнее всего, именно они наградил его страшной болезнью... Врачи долго не решались поставить окончательный диагноз, а Мопассан уже храбрился. «У меня сифилис! Наконец-то! Настоящий! – объявлял он другу. – Сифилис, от которого умер Франциск I. И я этим горжусь, черт побери, и я больше всего презираю буржуа...»

Служба тяготила Мопассана все больше. Отношения с начальством складывались плохо: читать для себя в служебное время было невозможно; с трудом удавалось получить отпуск, чтобы навестить мать в Этрета; жалобы на здоровье вызывали только подозрения в недобросовестности. Наконец Флоберу удалось добиться перевода Мопассана в Министерство образования. Расхожая легенда о снобизме Мопассана гласила, что он заказал себе визитную карточку с помпезным указанием должности: «Атташе при министре народного образования, культа и

изящных искусств, ответственный за переписку министра и администрации по делам культа, высшего образования и финансов». Самолюбование или скорее самоирония? Новые начальники относятся к литературным склонностям служащего снисходительно, но присутствие в министерстве не перестает быть для него обременительной обязанностью.

Мопассан еще держится за должность, даже если первые творческие опыты не всегда совместимы с нравственным обликом чиновника от просвещения. В феврале 1880-го, перелистывая журнал «Эвенман», Мопассан узнает о том, что 9 января (!) его вызывали в суд по обвинению в «оскорблении общественной и религиозной нравственности». Поводом стала публикация рассказа под названием «Проститутка». Флобер был серьезно обеспокоен начавшимся процессом, тем более что он грозил его протезе потерей места. Он с готовностью откликнулся на просьбу написать статью о самоценности искусства и его независимости от норм морали. Сам Флобер прошел через аналогичный судебный процесс в связи с романом «Мадам Бовари», был оправдан и признан непререкаемым литературным авторитетом. Статья вышла в журнале «Голуа» под названием «Гюстав Флобер и литературные процессы», кроме того, Флобер задействовал всех знакомых, могущих поспособствовать закрытию злосчастного дела.

Лишь почувствовав в себе подлинную силу литератора, Мопассан перестанет появляться в министерстве, бесконечно продлевая отпуск под предлогом слабого здоровья. Его окончательно уволят после публикации едкой статьи «Служащие», которая содержала следующие строки: «На дверях министерств следовало бы написать знаменитую фразу Данте: „Оставь надежду, всяк сюда входящий“. А вот надежду войти в литературу Мопассан не оставил...»

Парижская пишущая элита знала, что молодой человек сочиняет стихи и пьесы, пробует перо в литературной критике, но широкой публике его имя по-прежнему ничего не говорило. Флобер просматривал черновики первых произведений Мопассана, критиковал и частенько советовал их разорвать. Его, правда, очень позабавила любительская постановка, которую Мопассан осуществил с молодыми друзьями: фривольная, если не сказать скабрёзная пьеса «Турецкий дом, или У розового лепестка» (1875), в которой сам Мопассан исполнял женскую роль. Гюстав Флобер присутствовал на премьере и рекомендовал ее всем знакомым. После просмотра он восклицал: «Ах, как это свежо!», а Гонкур ужасался: «Это мрачно!» – и удивлялся полному отсутствию всякого стыда у ее автора... Мопассан писал и пьесы более приемлемые для официальных театров: например, небольшая драма «Сцена из старых времен», постановки которой Флобер пытался добиться через посредство Сары Бернар. Он следовал путем, обычным для писателей XIX века: принято было начинать с жанров «благородных» – поэзии и театра.

Было ясно: несмотря ни на что, Мопассан твердо намерен построить литературную карьеру – в этом терпеливом упорстве были все признаки заурядности, а то, что Мопассан представлял на суд, пока не отличалось оригинальностью: стихи не были достаточно хороши, пьесам не хватало глубины. Когда Мопассану намекали, что он мог бы попробовать себя в других жанрах, начинающий писатель спокойно отвечал: «Торопиться некуда, я учусь своему ремеслу». Позднее он утверждал, что никогда не обладал особым даром к литературе, но со своим упорством и целеустремленностью мог бы преуспеть в любом деле... А пока не он, а Тургенев вздыхал: «Бедный Мопассан! Какая жалость – у него никогда не будет таланта»... Что касается Флобера, кто знает, не прививал ли он Мопассану любовь к литературе как единственную известную ему вакцину от жизненных невзгод?

Так или иначе, одним из этапов «ученичества» Мопассана была литературная критика – и стоит ли говорить о том, что первая статья была посвящена Гюставу Флоберу. Затем последовала статья «Бальзак в письмах», которую Флобер счел безупречной по стилю, но слишком короткой и слишком сентиментальной. Мопассан защищался: издатель просил «чего-нибудь занимательного» для дам и господ читателей. Три последующие статьи директора журнала по

различным причинам не принял, и Мопассан утвердился во мнении, что в прессе невозможно публиковать по-настоящему серьезные литературные статьи.

Мопассан не раз служил «подмастерием» Гюстава Флобера: описывал соответствующие замыслу романиста места на нормандском побережье, искал другие необходимые писателю сведения. Как-то раз Флобер попросил Мопассана переслать ему книгу Герберта Спенсера «Введение в социальную науку» и новые документы об Артуре Шопенгауэре. Выполняя это поручение, Мопассан познакомился с учением английского философа-эволюциониста, утверждавшего существование универсальных законов природы, вечность материи и непрерывность движения, и с трудами немецкого философа-пессимиста, описывавшего человеческую жизнь как чередование тоски и стремления к иллюзорному счастью. Эти две доктрины во многом определили мировоззрение Мопассана.

Посвящение в писатели предполагает роли учителей и последователей. Флобер и его «воскресные гости» остаются учителями. Помимо этого, Мопассан поддерживает отношения с группой молодых литераторов, объединившихся вокруг Золя: Поль Алексис, Жорис-Карл Гюисманс, Анри Сеард, Леон Энник. Журналисты прозвали эту группу «хвостом Золя», а в историю литературы она вошла как ядро новой школы – «натурализма». Мопассан изначально признавался в своих сомнениях по поводу литературного течения, к которому примкнул: он не верил в школы как таковые – и в натурализм не больше, чем в романтизм или реализм. В искусстве, по его мнению, важна прежде всего оригинальность, самостоятельность и новизна. Кружок натуралистов, однако, представлял собой отличный трамплин в мир литературы, а со временем осознанное стремление к оригинальности позволило Мопассану не остаться навечно в «хвосте Золя».

Но для того, чтобы парижские литераторы осознали степень писательской одаренности Ги де Мопассана, понадобилась яркая вспышка таланта. Воспоминания о Франко-прусской войне, накопившиеся в душе, как порох, позволили Мопассану дать этот залп. С момента окончания Франко-прусской войны прошло почти десятилетие, когда в 1880 году вышел сборник «Меданские вечера», созданный с целью описать ее события без «крикливого шовинизма» и «фальшивого энтузиазма». Идея подобного сборника зародилась у Эмиля Золя, когда он прочел в русском журнале «Слово» новеллу Сеара «Перемирие» и мысленно связал ее с собственным «Эпизодом вторжения 1870 года» (опубликованным двумя годами раньше в «Вестнике Европы» и, по предложению Тургенева, позднее переименованным в «Атаку мельницы»), а также с новеллой Гюисманса «Заплечный мешок». Золя попросил Поля Алексиса, Леона Энника и Ги де Мопассана написать по рассказу, чтобы дополнить сборник. Одним из стимулов было то, что имя Золя гарантировало успех книги и каждый из авторов мог рассчитывать на гонорар в сто франков. Мопассан немедленно принялся за работу. В течение холодного декабря 1879 года «пятерка» молодых писателей часто собиралась. Наконец был назначен день, когда каждый должен был прочесть свое произведение. Мопассан читал последним – и это было настоящее потрясение. Когда он закончил, все встали, движимые единым порывом, и без громких фраз поприветствовали его как настоящего Мастера.

Реакция публики подтвердила это признание: «Пышка» затмила даже произведение Золя. Рассказ Мопассана отличал как дерзкий выбор главной героини – девушки легкого поведения, так и умение в коротком анекдоте вскрыть серьезные проблемы – столкновение фальшивого и истинного патриотизма, лицемерия и чувства чести. Преемственность некоторых тем (нормандский колорит, насмешки над буржуа) и превосходный, выверенный литературный стиль породили слухи о том, что настоящий автор «Пышки» – Флобер. Сам Гюстав Флобер пришел в восторг от произведения питомца. Наконец прозвучала долгожданная похвала: «Еще десять таких историй, и ты будешь совсем мужчиной», прозвучала как эхо наставлений покойного Луи Буйле...

Менее чем через месяц после выхода «Меданских вечеров» Гюстав Флобер скончался от апоплексического удара. На похороны приехали многие знаменитости, но именно Мопассан собственными руками приготовил тело великого писателя к погребению. Он больше не мог урваться в тени великого учителя – началась пора самостоятельного роста.

Успех «Пышки» указывал Мопассану на сильные стороны собственного таланта и сулил возможность наконец жить литературным трудом. В свет не так давно вышел первый (и единственный) сборник стихов с незамысловатым названием «Стихи», а Ги де Мопассан уже работал над сборником рассказов «Заведение Телье», продолжающих щекотливую тему домов терпимости. Но выбор темы не был просто попыткой добиться скандального успеха: Мопассан по своему отстаивал свободу художника, которую утверждали многие значительные французские авторы на протяжении XIX века. Писатели из окружения Флобера оценили сборник: Эмиль Золя хвалил «проницательный анализ» писателя и его «уравновешенный и здоровый темперамент», а И.С. Тургенев, которому сборник был посвящен, рекомендовал его Л.Н. Толстому. Что касается блюстителей общественной морали, то они всю клеймили «отвратительную книжонку» и «мерзость». Издательство «Ашет», обладавшее монополией на продажу книг и журналов на вокзалах по всей Франции, отказалось распространять сборник – что не помешало ему разойтись большим тиражом (два года спустя на полученные от продажи книги деньги Мопассан сможет построить дом в Этрета). Ги де Мопассан столь же уверенно вел свои дела с издателями и директорами журналов, как управлял лодкой на Сене. Он твердо осознавал, насколько выгодно издателям его сотрудничество, – и умел вовремя напомнить, что другие могут заплатить ему больше. Но успех Мопассана-литератора измерялся не только в тиражах и денежных суммах.

Начинается золотое десятилетие в жизни Мопассана. В 1883-м писатель завершает первый большой роман под названием... «Жизнь». Многие говорят о том, что это произведение, описывающее разочарования молодой замужней женщины, вместило в себя печальный опыт Лоры де Мопассан. Так или иначе, за несколько лет до того замысел романа был одобрен автором «Мадам Бовари». В целом, за десять лет Мопассан написал шесть больших романов (еще два, «Чужая душа» и «Анжелюс», так и остались незавершенными), а также свыше трехсот новелл и три тома путевых заметок. Любители статистики подсчитали, что за 1885 год Мопассан написал больше, чем такие плодовитые авторы, как Бальзак, Диккенс или Дюма-отец. Известность Мопассана вышла за пределы Франции; от Тургенева он получает письмо, сообщающее о шумном успехе его книг в России: «Перевели все, что было переводимо». Роман «Милый друг» (1885) русская публика прочла раньше, чем французская: он публиковался в виде фельетона в «Вестнике Европы» быстрее, чем на страницах журнала «Жиль Блаз»... К романам и новеллам необходимо добавить многочисленные статьи Мопассана в парижских журналах.

Журналистика, по сути, была лучшим способом зарабатывать пером в Париже конца XIX века: периодические издания публиковали всевозможные заметки, рассуждения на злободневные темы, литературную и театральную критику, портреты знаменитостей, путевые заметки – все, что могло заинтересовать как светского читателя, так и обывателя. Мопассан долгое время отказывался от этой возможности, не желая ставить свою подпись «под страницей, написанной за два часа». Но после смерти Флобера он принял предложение редактора журнала «Голуа», который готов был платить ему пятьсот франков за одну статью в месяц (что в год составляло сумму в два раза больше ставки министерского служащего). Отказываясь от одного из флюберовских принципов – кропотливой работы над каждой строчкой, – Мопассан в первых же статьях спешил обыграть образы, унаследованные от Флобера. Первый цикл его журнальных статей был озаглавлен «Воскресения парижского буржуа»: главный герой звался Патиссот и, очевидно, приходился родственником флюберовским образцовым обывателям Бувару и

Пекюше... В этих первых хрониках нашлось место «плерным зарисовкам» Мопассана, сделанным в парижских пригородах в выходные дни...

В дальнейшем Мопассан-журналист начинает говорить от первого лица – о политике и живописи, о финансах и нравах парижского общества, о бессмысленности дуэли, о проблемах брака и воспитании девушек. В статье «Честь и деньги» Мопассан-журналист иронизирует над причудливыми изменениями в общественной морали: «Кража десяти су – по-прежнему кража; а вот исчезновение ста миллионов вовсе нет». На примере обострения отношений между Италией и Францией из-за североафриканских колоний он рассуждает о механизме разжигания ненависти: это «качели шовинизма», на которые пресса подсаживает целые нации. Мопассан играл роль журналиста с азартом: когда в конце июня 1880 года вспыхнули восстания в Тунисе и Алжире, Мопассан отбыл в Магриб с твердым намерением составить собственное мнение о происходящем. Оттуда он отправляет «Письма из Африки», в которых высмеивает необдуманную политику в колониях, высокомерие поселенцев и ангажированность французских журналистов...

Имея эксклюзивный контракт с «Голуа», Мопассан не отказывался писать и для другого популярного журнала – «Жиль Блаз», скрываясь под псевдонимом Мофриньез. Завидное умение Мопассана получать хорошие деньги за свои сочинения породило слух о том, что он якобы готов продать даже свою подпись. Однако статьи в прессе всегда были для Мопассана лишь дополнением к создаваемым рассказам и романам.

Стефан Малларме как-то определил Ги де Мопассана как «лучшего литературного журналиста». В устах поэта это выражение было окрашено иронией (для него самого чистая литература стояла неизмеримо выше прессы), но в нем отражены важные свойства произведений Мопассана: они обладали для читателя притягательной силой газетной заметки – в них была злободневность и правдивость. Злободневность на поверку временем оказалась неизменной актуальностью, а правдивость была заложена в самом творческом методе Мопассана.

Ги де Мопассан писал лишь о том, что знал и видел. По свидетельству руанского литератора Шарля Лапьера, Мопассан «изменял, группировал, развивал, но ничего не изобретал. Он завладевал фактом, сразу же схватывал его мораль – всегда ироническую – и при помощи своего безупречного стиля придавал ему необычную рельефность. Большая часть его рассказов [...] – достоверные повествования, за исключением некоторых деталей». Можно считать это формулой того особого, независимого и самообытного реализма, который исповедовал Мопассан. Часто знакомые Мопассана указывали на тот или иной подсказанный ему сюжет. Но для самого писателя, очевидно, важны были не столько факты или события, сколько стоящие за ним закономерности человеческой жизни. Он утверждал, что верит не в «анализ», а в «ощущение»: «Каждый раз, когда мне удавалось хорошо изобразить человека, – это мне удавалось потому, что я на минуту становился им. Романист не должен отказываться ни от какого опыта, он должен становиться охотником с охотниками, моряком с моряками, крестьянином с крестьянами, буржуа с буржуа». Известный критик Поль Бурже вспоминал необыкновенную способность Мопассана естественным образом вписываться в любой круг, в любое общество, – и незаметно наблюдать, никогда не делая записей, но позволяя происходящему запечатлеться в памяти, как на пластинке фотоаппарата.

Чем бы Мопассан ни занимался, где бы ни бывал – его впечатления позднее отливались в литературные формы. Детство в Нормандии питало рассказы о крестьянах, такие, как «Нормандская шутка», «Сабо» и другие, а воспоминания о войне возвращались в новеллах «Дуэль», «Мадемуазель Фифи», «Брак лейтенанта Ларэ» и т. д. Общение с парижскими журналистами и литераторами дало детали для романа «Милый друг», выход в большой свет – для романов «Сильна как смерть» и «Наше сердце», знакомство с полусветом – для новеллы «Иветта» и многих рассказов. Вынужденные поездки в курортные городки в горах позволили написать роман «Монт-Ориоль», а наблюдения во время путешествий на яхте вошли в сборник «На

воде». Следуя традиции Мериме, автора «Кармен» и «Коломбы», Мопассан написал несколько «экзотических» новелл с корсиканским и арабским колоритом – каждый раз опираясь на собственные впечатления от описываемого края. Иногда Мопассан намеренно собирал необходимые элементы для литературных произведений: он выезжал в определенное место, чтобы точнее запечатлеть пейзаж, понаблюдать за поведением людей – или просто выбрать подходящее лицо для героини. Так, работая над историей сумасшествия героя повести «Орля», Мопассан слушал лекции Шарко о «мужской истерии» и «психическом параличе». Для него это был очередной литературный опыт, исследование состояния беспричинного страха – ощущения, которое было знакомо ему самому...

Отточенную форму произведений Мопассана принимали за свидетельство бесстрастности и отсутствия сомнений. В его стиле видели воплощение французской «ясности», продолжение традиций Лафонтена в эпоху неврозов и литературного маньеризма. Мопассан рассуждал: «Меня, без сомнения, считают одним из наиболее равнодушных людей на свете. Я же скептик, что не одно и то же, скептик, потому что у меня хорошие глаза»...

Как совместить работу над рукописью и наблюдение за жизнью? Как успевать видеть и писать? Мопассан чаще всего работал по утрам – в эти часы он не принимал даже самых близких друзей. В качестве оправдания он писал поэту Казалису: «Никто в мире, даже мой отец, не может войти ко мне утром. [...] Вы писатель [...] – Вам знакомо ощущение безопасности, которое дает уверенность в непреодолимости вашего порога». Зато во второй половине дня Мопассан становился радушным хозяином, хотя чаще в одиночестве предавался одному из любимых развлечений: плаванию, охоте, стрельбе из пистолета... Полученные от 37 переизданий романа «Милый друг» деньги Мопассан употребил на покупку двухмачтового парусника, «прелестного, как птичка; маленького, как гнездышко». Теперь писатель мог в любое время выходить в море, что он и делал, невзирая на погоду и поражая своей дерзостью даже опытных моряков.

Казалось, Мопассану ничего не оставалось желать: он много путешествовал (Италия и Англия, Алжир и Корсика, Антибские острова и Лазурный берег...), упорно работал и умел отдыхать от напряжения. И все же молодой писатель признавался в мучительной раздвоенности: «По временам я осознаю ужас существующего с такой силой, что желаю смерти. А иногда, напротив, всем наслаждаюсь, как животное». От избытка жизненной энергии или от скуки затевал Мопассан бесчисленные розыгрыши? Так, например, однажды писатель изображал в мирном французском поезде русского нигилиста-анархиста: он громким шепотом с отменным русским акцентом произносил крамольные речи, и соседи по купе слышали, как что-то тикало в свертке, который он бережно держал на коленях. Но когда предупрежденный перепуганными попутчиками жандарм заставил Мопассана продемонстрировать содержимое свертка – это оказались обыкновенные часы. В другой раз Ги де Мопассан представил знакомым мнимый проект казино на «острове Железной Маски» (о. Св. Маргариты). При помощи цифр он убедил состоятельных потенциальных акционеров, что проект стоит участия, а затем предложил осмотреть остров. Тут-то и выяснилось то, что Мопассан знал заранее: остров является собственностью государства и продаже не подлежит. Светских знакомых Мопассан втягивал в развлечения менее рафинированные, чем беседы, литературные игры и шарады: крикет, вошедший в моду теннис и шумные полудетские игры с толкотней и смехом...

Общение с женщинами – безразлично, большого света или полусвета – писателя занимало, несмотря на то что он слыл женоненавистником. Мопассан действительно часто рассуждал о зависимости и слабости женского характера, о несамостоятельности женских мнений, о жалкой роли женщины в современном обществе – исключением признавая лишь собственную мать, Лору де Мопассан, с которой его по-прежнему связывали тесные узы нежности и взаимопонимания. Однако писатель постоянно виделся с целым кругом капризных красавиц – отъявленной мучительницей мужчин графиней Потоцкой и ее лучшими подругами, Жене-

вьев Бизе (не вполне безутешной вдовой композитора Жоржа Бизе) и Мари Канн (любовницей писателя и критика Поля Бурже). Заметим, что знакомство с сестрой Мари Канн, Лулией Канн, открыло Мопассану двери в салоны богатейших парижских банкиров еврейского происхождения, в том числе и Ротшильдов. В одной из журнальных хроник Мопассан иронизировал над увлечением светских дам творческими людьми: мода требовала, чтобы каждая из них имела знакомого художника, поэта или писателя. Мопассан придает черты этих четырех женщин героине своей последней повести «Наше сердце», в которой он попытался запечатлеть женщину конца XIX века. Ранее Мопассан уже рассуждал в журнальных хрониках о ее неспособности любить: женщина с развитым умом и шаткими нервами уже неспособна обмануться мечтой, но по-прежнему лихорадочно жаждет счастья... Но можно ли говорить о женоненавистничестве Мопассана? Кто глубже, чем этот писатель, проник в закоулки женской души? Зоркий и пронизательный взгляд Мопассана делает невозможным безоговорочное поклонение женщине, но сродни сочувствию то пристальное внимание и безграничное понимание, которое выразилось в рассказе «Украшение», повести «Наше сердце» или романе «Жизнь».

Сам Мопассан видел в любви самообман, прикрывающий естественные человеческие инстинкты (сказывалось влияние Шопенгауэра и Спенсера). Признания в любви – или, скорее, повествование об испытанном зыбком ощущении влюбленности – встречаются в редких письмах к близкой и доверенной подруге, Эрмин Леконт де Ноуи, хрупкой женщине с голубыми глазами, оставившей книгу воспоминаний «Влюбленная дружба». Но и Эрмин остается одной из фигур в бесконечном «донжуанском списке» Мопассана – человека, о котором близкие говорили, что он никогда не добивался благосклонности женщин: это женщины приходили к нему, и он принимал их, никогда не считая себя обязанным жертвовать своей свободой. Ничто, даже рождение незаконных детей, не могло привязать его к женщине.

О популярности и «востребованности» Мопассана свидетельствует история некоей простой девушки, которая, прочтя одно из его произведений, твердо решила с ним познакомиться и несколько месяцев работала не покладая рук, чтобы достойно одеться и прийти к Мопассану. Писателя она дома не застала, но увидела некую даму и поспешила уйти. Многие не решались предстать перед ним лично и выбирали переписку. Итак, Мопассан писал романы и повести, а ему писали женщины и девушки, как поодиночке, так и целыми пансионами. Некоторых привлекала писательская слава Мопассана, некоторых – пикантные слухи, которые сам писатель с удовольствием поддерживал. В результате одной переписки любовницей Мопассана стала эксцентричная женщина-скульптор Мари-Поль Паран-Дебаррес, коротко стриженная в подражание Жанне д'Арк, одевавшаяся то мужчиной, то школьником, стрелявшая из пистолета и упражнявшаяся на трапеции... Другие «корреспондентки» изначально ставили условие никогда не искать встреч. Так, в начале 1884 года неизвестная предложила Мопассану стать «поверенной его прекрасной души – если, конечно, эта душа прекрасна». Незнакомка следила за свежими публикациями Мопассана и позволяла себе критиковать писателя (например, она находила, что рассказ «Мечь тетушки Соваж» – банальность). В ответ Мопассан утверждал, что не питает особых литературных претензий, и представлял себя без прикрас: «...две трети времени я провожу в глубокой скуке. Оставшуюся треть я употребляю на написание строк, которые я продаю как можно дороже, сожалея, что обязан заниматься этим отвратительным ремеслом». Как это ни странно, Мопассан, не всем и не сразу открывавшийся, с готовностью писал о себе этой неизвестной женщине. Переписка оборвалась после того, как незнакомка в очередной раз заявила, что ее не интересует «земная оболочка» писателя: «Неужели вы не хотите немного фантазии посреди парижской грязи? Не хотите бестелесной дружбы?» – спросила она. Незнакомкой была 24-летняя русская аристократка Мария Башкирцева, талантливая художница, замеченная на Парижском салоне в 1883 году и умершая от туберкулеза 31 октября 1884-го, оставив после себя интереснейший дневник на французском языке. По совпадению, последний автопортрет Ги де Мопассан дал в письме-отказе другой русской барышне, некоей

госпоже Богдановой: «Я держу свою жизнь в такой тайне, что никто ее не знает. Я разочарован, одинок и дик. [...] Я два раза отказывался от ордена Почетного Легиона и в прошлом году – от места в Академии, чтобы быть свободным от всяких уз и всякой признательности и не держаться ни за что в жизни, кроме работы». Мопассан действительно твердо отказался от ордена Почетного Легиона и от места во Французской академии, которого отчаянно и безуспешно добивался, например, Эмиль Золя. Это был отказ от всякой зависимости, от всякой привязанности – от любых уз.

Уединение Мопассана со временем становится все более полным. Он непрестанно переезжает с места на место: Этрета, Ницца и Канны, курортный городок Экс-ле-Бен или шале в Альпах, Италия, Антибские острова и Корсика... Временами Мопассан был вынужден возвращаться в Париж, чтобы уладить дела и окунуться в светскую жизнь, но эти приезды утомляли его, и он спешил прочь. В этот период о местонахождении Мопассана знал только всюду сопровождавший его слуга Франсуа и мать, которой он постоянно писал (скрывая, однако, истинное состояние своего здоровья). Воспоминания Франсуа Тассара, несмотря на неточности и опущения, позволяют немало узнать об этой тщательно скрываемой от посторонних глаз жизни. Постоянная смена места все больше напоминала бегство – Мопассан бежал от мигреней, болей и недомоганий; он надеялся наконец найти оздоравливающий климат, подходящее место, идеальные условия. Но недуг каждый раз настигал его. На палубе яхты солнце слепило его и вызывало нестерпимую резь в глазах – не спасал ни специально сооруженный навес, ни очки с синими стеклами. В курортных городках лечебные души не были достаточно мощными и бодрящими...

Борьба с болью не была нова для Мопассана: первые признаки болезни проявились еще в 1877-м, а с 1883-го они становились все более многочисленными и разнообразными: головные боли, запоры, боли в желудке, бессонные ночи... В 1883 году Мопассан сообщил Эмилю Золя, что вот уже шесть месяцев, как он наполовину слеп – пишет на ощупь и вынужден был нанять чтеца, чтобы знакомиться с интересующими книгами... Зрение возвращалось и пропадало; зрачок одного глаза был расширен, другого – сужен. Много из написанного Мопассан выводил на бумаге и правил, преодолевая боль, прорываясь сквозь сумерки. Лечение по последнему слову медицины помогало мало: Мопассан проводит дни и ночи в мучениях, «поглощая салицилат натрия, бромистый калий, хлороформ и т. д.». Доктора прописывают больному писателю хинин, антипирин, опиумную настойку, морфий, хлорал, уколы кокаина... Головные боли Мопассан уже много лет лечил эфиром.

Но с некоторых пор уже ничто не помогало справиться с силами и возобновить работу. Большим ударом и мрачным предсказанием стала в 1889 году смерть младшего брата Эрве, помещенного в психиатрическую лечебницу. Для самого Мопассана бессонница становится пыткой, головные и зубные боли не прекращаются. Из-за отеков ему тесно в собственной одежде. Но страшнее всего мгновения, когда он внезапно перестает понимать, где находится и что с ним происходит. Мопассан с трудом подбирает точные слова, его письма пестрят помарками. В 1891 году, показывая другу начатую рукопись романа «Анжелюс», Мопассан с горечью произнес: «Вот уже год, как я не могу написать ни страницы больше. Если через три месяца книга не будет окончена, я покончу с собой».

Когда Мопассан возвращается в Париж в апреле 1891 года, ему остается только совершать медленные прогулки по Булонскому лесу: из опасения за его зрение доктора категорически запрещают писать. Невоплощенным остается замысел собрать в единый том литературную критику: статьи о Флобере, Буйле, Золя, Тургеневе. Знакомые были поражены худобой Мопассана, которую не могла скрыть непривычная элегантность костюма. Писатель понимал, что почти неузнаваем, и с иронично-притворным удивлением отвечал на приветствия. В разговоре с поэтом Жозе-Мария Эредиа он признался, что измучен тоской, болями, а главное – невозможностью писать: что может быть ужаснее, чем провалы в памяти и неспособность

подобрать необходимое слово? Они расстались на слове «Прощай». Мопассан добавил: «Мое решение принято. Я не задержусь. Я не хочу пережить самого себя. Я ворвался в литературу как метеор – я исчезну из нее с ударом грома».

Мопассан верно предугадывал свою судьбу. «Удар грома», предсказанный им, прогремел в начале января 1892-го. В канун нового года Мопассан гостил у матери в Нормандии. По рассказам Лоры де Мопассан, вечером он внезапно загорелся идеей куда-то ехать, и как мать ни отговаривала его, как ни пыталась удержать, он вырвался из ее объятий и исчез в ночи – «возбужденный, безумный, охваченный бредом, направляющийся неизвестно куда». В действительности последнее свидание писателя с матерью было чуть менее драматичным. Ги де Мопассан спокойно вернулся к себе на квартиру, съел гроздь винограда, выпил на ночь травяного чая и поднялся в спальню... Посреди ночи Франсуа Тассар, верный слуга Мопассана, услышал страшный шум и бросился наверх. Он нашел хозяина посреди комнаты с лезвием в руке и зияющей раной на горле. Ящик стола, где хранился пистолет, был раскрыт – но оружие в доме было предусмотрительно разряжено. Был ли это последний сознательный жест перед лицом надвигающегося безумия? Или неистовое движение, навеянное галлюцинациями о преследованиях загадочного двойника, злодея Подофилла, которым Мопассан будет непрестанно бредить с этого дня?

Спустя неделю поезд Ницца – Париж прибывает на Северный вокзал. Покорному и измученному Мопассану – в смиренной рубашке, прикрытой полосатым пледом, – помогают спуститься на перрон. Его встречают издатель Оллендорф и доверенный врач Казалис. Отец писателя успел составить необходимое официальное письмо с просьбой о помещении Мопассана в психиатрическую лечебницу. Ги де Мопассана доставили в знаменитое образцовое заведение доктора Бланша в Пасси – аккуратные павильоны в парке с видом на Эйфелеву башню, – где писателю предстоит провести последние полтора года жизни... Сначала были галлюцинации и причудливые монологи, в которых навязчиво возвращались отдельные темы: пропитавшая все тело соль, мнимое присвоение денег издателями, преследования загадочного Подофилла, мучения брата Эрве, необходимость есть яйца или принимать морфий, чтобы вылечить желудок, – и снова миллионы, брат Эрве, яйца, Подофилл, морфий, искусственный желудок, соль... Вскоре Мопассан перестал узнавать знакомых, речь стала бессвязной, и через некоторое время больной впал в протрацию. Он не писал и даже не читал; лишь однажды взял перо и лист бумаги, вывел несколько неведомых слов – ничего не значащий набор слогов... Доктор Бланш лично писал Лоре де Мопассан успокоительные и лживые отчеты о стабильном состоянии больного: мать писателя сама была слишком слаба, и родственники предпочитали ограждать ее от излишних волнений.

За оградой клиники газеты и журналы пережевывали новость: намекали на автобиографичность повести «Орля», вспоминали рассказы Мопассана о сумасшедших, рассуждали о связи гения и безумия, задавались вопросом о том, когда именно появились первые признаки болезни Мопассана и каковы были ее причины... Поразительно, но в хоре искренних сожалений звучали и злорадные голоса: в этом несчастье видели возмездие писателю, который никого и ничто не любил и не имел истинных друзей – кроме издателя Оллендорфа...

Ги де Мопассан скончался 5 июня 1893 года, в возрасте сорока трех лет, после одного из участвовавших приступов судорог. Когда-то писатель просил не хоронить его в свинцовом гробу, чтобы тело могло воссоединиться с землей: его похоронили в обычном по тем временам тройном гробу из сосны, цинка и дуба. Ни мать, ни отец Мопассана не смогли приехать на похороны: Гюстав де Мопассан медленно оправлялся от апоплексического удара, а обессиленная и больная Лора осталась в Ницце. Речь над могилой Ги де Мопассана Эмиль Золя завершил словами: «Те, что узнают его лишь по произведениям, будут любить его за вечный гимн любви, который он пел жизни».

Э. Абсалямова

Наше сердце

Часть первая

I

Однажды Масиваль, музыкант, прославленный автор *Ревекки*, тот, кого уже лет пятнадцать называли «знаменитым молодым маэстро», сказал своему другу Андре Мариолю:

– Почему ты не попросишь, чтобы тебя представили госпоже де Бюрн? Уверяю тебя, это одна из интереснейших женщин современного Парижа.

– Потому что я вовсе не создан для этого общества.

– Дорогой мой, ты не прав. Это очень своеобразный, очень современный, живой и артистический салон. Там много занимаются музыкой, там ведут беседу не хуже, чем в салонах лучших сплетниц прошлого столетия. Тебя в этом доме оценили бы, – прежде всего потому, что ты превосходный скрипач, во-вторых, потому, что там о тебе было сказано много хорошего, наконец, потому, что ты слывешь человеком не банальным и не расточительным на знакомства.

Мариоль был польщен, но, все еще противясь и к тому же предполагая, что это настойчивое приглашение делается не без ведома молодой женщины, проронил: «Ну, меня это мало интересует»; и в этом нарочитом пренебрежении уже звучала нотка согласия.

Масиваль продолжал:

– Хочешь, я представлю тебя на днях? Да ты, впрочем, уже знаешь ее по рассказам друзей; ведь мы довольно часто говорим о ней. Ей двадцать восемь лет, это очень красивая женщина, большая умница; она не хочет вторично выходить замуж, потому что в первом браке была крайне несчастлива. Она сделала свой дом местом встреч приятных людей. Там не слишком много клубных завсегдатаев и светских пошляков. Ровно столько, сколько требуется для придания блеска. Она будет в восторге, если я тебя приведу.



Побежденный Мариоль ответил:

– Пусть будет по-твоему. Как-нибудь на днях.

В начале следующей недели композитор зашел к нему и спросил:

– Ты завтра свободен?

– Да... пожалуй.

– Отлично. Пойдем обедать к госпоже де Бюрн. Она мне поручила пригласить тебя. Впрочем, вот и ее записка.

Подумав несколько мгновений для приличия, Мариоль ответил:

– Пойдем.

Андре Мариолу было лет тридцать семь, он был холост, ничем не занимался, был достаточно богат, чтобы позволить себе жить, как ему вздумается, путешествовать и даже собрать прекрасную коллекцию новой живописи и старинных безделушек; он слыл человеком остроумным, немного сумасбродным, немного нелюдимым, чуть прихотливым, чуть высокомерным, разыгрывающим отшельника скорее из гордости, чем от застенчивости. Богато одаренный, тонкого ума, но ленивый, способный все понять и, быть может, многое сделать, он довольствовался тем, что наслаждался жизнью в качестве зрителя или, вернее, знатока. Будь он беден, он, несомненно, стал бы выдающимся человеком и знаменитостью, но, родившись богатым, он вечно упрекал себя за то, что не сумел ничего добиться. Правда, он предпринимал ряд попыток, но слишком нерешительных, в области искусств: одну – на литературном поприще, издав путевые заметки, интересные, живые и изысканные по стилю; другую – в области музыки, увлекаясь игрой на скрипке, – и тут он приобрел, даже среди профессиональных исполнителей, славу одаренного дилетанта; и, наконец, третью попытку – в области скульптуры, того искусства, где прирожденная ловкость и дар смело намечать обманчивые контуры заменяют в глазах невежд мастерство и выучку. Его глиняная статуэтка *Тунисский массажист* принесла ему даже некоторый успех на прошлогодней выставке.

Говорили, что он не только прекрасный наездник, но и выдающийся фехтовальщик, хоть он никогда не выступал публично, вероятно, из-за той же робости, которая заставляла его избегать светских кругов, где можно было опасаться серьезного соперничества.

Но друзья единодушно хвалили и ценили его, быть может, потому, что он не затмевал их. Во всяком случае, о нем говорили как о человеке надежном, преданном, отзывчивом и приятном в обращении.

Роста выше среднего, с черной бородкой, коротко подстриженной на щеках и образующей на подбородке острый клин, со слегка седеющими, но красиво вьющимися волосами, он отличался открытым взглядом ясных, живых карих глаз, недоверчивых и чуть суровых.

Среди его друзей преобладали деятели искусства – романист Гастон де Ламарт, музыкант Масиваль, художники Жобен, Риволе, де Модель, которые, казалось, высоко ценили его дружбу, его ум, остроумие и даже его суждения, хотя в глубине души они с высокомерием людей, достигших успеха, считали его неудачником – пусть очень милым и очень умным.

Его надменная сдержанность как бы говорила: «Я ничто, потому что не захотел быть кем-либо». И он вращался в узком кругу, пренебрегая великосветским флиртом и модными салонами, где другие блистали бы ярче и оттеснили бы его в толпу светских статистов. Он посещал только такие дома, где могли правильно оценить его неоспоримые, но скрытые качества; и он так быстро согласился быть представленным г-же Мишель де Бюрн лишь потому, что лучшие его друзья, те самые, которые всюду рассказывали о его скрытых достоинствах, были постоянными гостями этой молодой женщины.

Она жила в первом этаже прекрасного дома на улице Генерала Фуа, позади церкви Сент-Огюстен. Две комнаты – столовая и та гостиная, где принимали всех, – выходили на улицу, две другие – в прелестный сад, находившийся в распоряжении домовладельца. С этой стороны помещалась вторая гостиная, очень просторная, скорее длинная, чем широкая, с тремя окнами, откуда были видны деревья, листья которых касались ставен; она была обставлена исключительно простыми и редкими предметами безупречного, строгого вкуса и огромной ценности. Стулья, столы, прелестные шкафчики и этажерки, картины, веера и фарфоровые статуэтки в горке, вазы, фигурки, громадные настенные часы, обрамленные панно, – все убранство дома молодой женщины влекло и приковывало взоры своим стилем, стариной или изяществом. Чтобы создать себе такую обстановку, которой она гордилась почти так же, как самой собою, она воспользовалась дружбой, любезностью и чутьем всех знакомых ей художников. Они с охотничьим азартом выискивали для нее, богатой и щедрой, вещи, отмеченные тем неповторимым отпечатком, которого не улавливает вульгарный любитель, и благодаря этим людям г-жа де Бюрн создала знаменитый, малодоступный салон, где, как ей представлялось, гости чувствовали себя лучше и куда шли охотнее, нежели в заурядные салоны других светских женщин.

Одна из излюбленных ее теорий заключалась в том, что оттенок обоев, занавесей, уютность кресел, приятность форм, изящество целого нежат, чаруют и ласкают взоры не меньше, чем обворожительные улыбки хозяев. Привлекательные или отталкивающие дома, говорила она, богатые или бедные, пленяют, удерживают или отвращают в такой же мере, как и населяющие их существа. Они будят или усыпляют сердце, воспаляют или леденят ум, вызывают потребность говорить или молчать, повергают в печаль или радуют. Словом, они внушают гостю безотчетное желание остаться или уйти.



В этой несколько сумрачной гостиной, между двумя жардиньерками с цветами, на почетном месте стоял величественный рояль. Дальше высокая двустворчатая дверь вела в спальню, за которой следовала туалетная, тоже очень элегантная и просторная, обитая персидской материей, как летняя гостиная; здесь г-жа де Бюрн обычно проводила время, когда бывала одна.

Выйдя замуж за светского негодяя, за одного из тех семейных тиранов, которым все должны подчиняться и уступать, она вначале была очень несчастна. Целых пять лет ей приходилось терпеть жестокость, требовательность, ревность, даже грубость этого отвратительного властелина; и, терроризованная, ошеломленная неожиданностью, она безропотно покорилась игу открывшейся перед нею супружеской жизни; она была подавлена деспотической, гнетущей волей грубого мужчины, жертвой которого оказалась.

Однажды вечером, возвращаясь домой, муж ее умер от аневризма, и когда принесли его тело, завернутое в одеяло, она долго вглядывалась в него, не веря в реальность освобождения, чувствуя глубокую, сдерживаемую радость и боясь обнаружить ее.

От природы независимая, веселая, даже экспансивная, обворожительная и очень восприимчивая, с проблесками вольнодумства, которые каким-то образом появляются у иных парижских девочек, словно они с детских лет вдыхали пряный воздух бульваров, куда по вечерам через распахнутые двери театров врывается тлетворная атмосфера одобренных или освистанных пьес, – она все же сохранила от своего пятилетнего рабства какую-то застенчивость, сочетавшуюся с прежней смелостью, постоянную боязнь, как бы не сделать, не сказать лишнего, жгучую жажду независимости и твердую решимость уже никогда больше не рисковать своей свободой.

Ее муж, человек светский, заставлял ее устраивать приемы, на которых она играла роль бессловесной, изящной, учливой и нарядной рабыни. Среди друзей этого деспота было много деятелей искусства, и она принимала их с любопытством, слушала с удовольствием, но никогда не решалась показать им, как хорошо она их понимает и как высоко ценит.

Когда кончился срок траура, она как-то пригласила нескольких из них к обеду. Двое уклонились, трое же приняли приглашение и с удивлением нашли в ней обаятельную молодую

женщину с открытой душой, которая тотчас же безо всякого жеманства мило призналась им в том, какое большое удовольствие доставляли ей прежние их посещения.

Так постепенно она выбрала среди старых знакомых, мало знавших или мало ценивших ее, несколько человек себе по вкусу и, в качестве вдовы, в качестве свободной женщины, желающей, однако, сохранить безупречную репутацию, стала принимать наиболее изысканных мужчин, которых ей удалось собрать вокруг себя, присоединив к ним лишь двух-трех женщин.

Первые приглашенные стали близкими друзьями, образовали ядро, за ними последовали другие, и дому был придан уклад небольшого монаршего двора, куда каждый приближенный приносил либо талант, либо громкое имя; несколько тщательно отобранных титулов применялось здесь к светлым умам разночинной интеллигенции.

Ее отец, г-н де Прадон, занимавший верхний этаж, служил как бы блюстителем нравственности и защитником ее доброго имени. Старый волокита, чрезвычайно элегантный, остроумный, он уделял ей много внимания и обращался с ней скорее как с дамой сердца, чем как с дочерью; он возглавлял обеды, которые она давала по четвергам и которые вскоре приобрели в Париже славу, став предметом толков и зависти. Просьбы быть представленным и приглашенным все учащались; их обсуждали в кружке приближенных и часто отклоняли после своего рода голосования. Несколько острот, сказанных в этом салоне, облетели весь город. Здесь дебютировали актеры, художники и молодые поэты, и это было для них как бы крещением их славы. Лохматые гении, приведенные Гастоном де Ламартом, сменяли у рояля венгерских скрипачей, представленных Масивалем, а экзотические танцовщицы изумляли здесь гостей своей волнующей пластикой, прежде чем появиться перед публикой Эдема или Фоли-Бержер¹.

Г-жа де Бюрн, сохранившая тяжелое воспоминание о своей светской жизни под гнетом мужа и к тому же ревниво оберегаемая друзьями, благоразумно воздерживалась слишком расширять круг знакомых. Довольная и в то же время чувствительная к тому, что могли бы сказать и подумать о ней, она отдавалась своим немного богемным наклонностям, сохраняя вместе с тем какую-то буржуазную осторожность. Она дорожила своей репутацией, остерегалась безрассудств, была корректна в своих прихотях, умеренна в дерзаниях и заботилась о том, чтобы ее не могли заподозрить ни в одной связи, ни в одном флирте, ни в одной интриге.

Все пытались обольстить ее; но никому, как говорили, это не удалось. Они исповедовались друг другу и признавались в этом с удивлением, ибо мужчины с трудом допускают – и, пожалуй, не без оснований – такую добродетель в независимой женщине. Вокруг нее создавалась легенда. Говорили, будто ее муж проявил в начале их совместной жизни столь возмутительную грубость и такие невероятные требования, что она навсегда излечилась от любви. И ее друзья часто обсуждали это между собой. Они неизбежно приходили к выводу, что девушка, воспитанная в мечтах о любовных ласках и в ожидании волнующей тайны, которая представляется ей как что-то мило-постыдное, что-то нескромное, но утонченное, должна быть потрясена, когда сущность брака раскрывается перед нею грубым самцом.

Светский философ Жорж де Мальтри добавлял с легкой усмешкой: «Ее час еще пробьет. Он никогда не минует таких женщин. И чем позднее, тем громче он прозвучит. Наша приятельница, с ее артистическими вкусами, влюбится на склоне лет в какого-нибудь певца или пианиста».

Гастон де Ламарт придерживался другого мнения. Как романист, психолог и наблюдатель, изучающий светских людей, с которых он, кстати сказать, писал иронические, но схожие портреты, он считал, что понимает женщин и разбирается в их душе с непогрешимой и непревзойденной пронизательностью. Он причислял г-жу де Бюрн к разряду тех нынешних сумасбродок, образ которых он дал в своем любопытном романе «Одна из них». Он первый описал эту новую породу женщин, породу рассудительных истеричек, которых терзают нервы, беспре-

¹ Эдем, Фоли-Бержер – парижские театры, превратившиеся к концу XIX века в кафешантаны.

станно томят противоречивые влечения, даже не успевающие стать желаниями, женщин, во всем разочарованных, хотя они еще ничего не испытали по вине обстоятельств, по вине эпохи, условий момента, современных романов; эти женщины, лишённые огня, неспособные на увлечение, сочетают в себе прихоти избалованных детей с черствостью старых скептиков.

Как и другие, он потерпел неудачу в своих попытках увлечь ее.

А в г-жу де Бюен один за другим влюблялись все ее приближенные, и после кризиса они долго еще бывали растроганы и взволнованы. Мало-помалу они образовали как бы маленькую общину верующих. Эта женщина была для них мадонной, и они без конца говорили о ней, подвластные ее обаянию даже издали. Они читали ее, восхваляли, критиковали или порицали, смотря по настроению, в зависимости от обид, неудовольствия или зависти, когда она выказывала предпочтение кому-нибудь из них. Они постоянно ревновали ее друг к другу, немного друг за другом шпионили, но всегда держались вокруг нее сплоченными рядами, чтобы не подпустить какого-нибудь опасного соперника. Самые преданные были: Масиваль, Гастон де Ламарт, толстяк Френель, молодой философ, весьма модный светский человек Жорж де Мальтри, известный своими парадоксами, красноречием и разносторонней образованностью, всегда пополняемой последними научными достижениями, непонятный даже для самых горячих его поклонниц; он славился также своими костюмами, такими же изысканными, как и его теории. К этим выдающимся людям хозяйка дома прибавила несколько светских друзей, слывших остроумными: графа де Марантена, барона де Гравиля и двух-трех других.

Самыми привилегированными среди избранных были Масиваль и Ламарт, обладавшие, казалось, даром всегда развлекать молодую женщину, которую забавляла их артистическая непринужденность, их болтовня и умение подтрунивать над всеми и даже над нею самою, когда она позволяла. Но ее желание – то ли естественное, то ли нарочитое – не оказывать ни одному из поклонников длительного и явного предпочтения, шаловливый, непринужденный тон ее кокетства и подлинная справедливость в распределении знаков внимания поддерживали между ними дружбу, приправленную враждой, и умственное возбуждение, делавшее их привлекательными.

Иной раз кто-нибудь из них, чтобы досадить другим, представлял своего знакомого. Но так как этот знакомый обычно не бывал человеком особенно выдающимся или особенно интересным, остальные, объединившись против него, вскоре его выживали.

И вот Масиваль ввел в дом своего товарища, Андре Мариоля.

Лакей в черном фраке доложил:

– Господин Масиваль! Господин Мариоль!



Под огромным пышным облаком розового шелка – непомерно большим абажуром, который отбрасывал на старинный квадратный мраморный столик ослепительный свет лампы-маяка, укрепленной на высокой колонне из золоченой бронзы, над альбомом, только что принесенным Ламартом, склонились четыре головы: женская и три мужских. Писатель перевертывал страницы и давал пояснения.

Женщина обернулась к входившим, и Мариоль увидел ясное лицо слегка рыжеватой блондинки, с непокорными завитками на висках, пылавшими, как горящий хворост. Тонкий вздернутый нос, живая улыбка, рот с четко очерченными губами, глубокие ямочки на щеках, чуть выдающийся раздвоенный подбородок придавали этому лицу насмешливое выражение, в то время как глаза, по странному контрасту, обволакивали его грустью. Они были голубые, блекло-голубые, словно синева их выгорела, стерлась, слиняла, а посередине сверкали черные, круглые, расширенные зрачки. Этот блестящий, странный взгляд как бы свидетельствовал о грезах, навеванных морфием, если не был вызван просто-напросто кокетливым действием белладонны.

Г-жа де Бюрн, стоя, протягивала руку, здоровалась, благодарила.

– Я уже давно прошу моих друзей привести вас, – говорила она Мариолу, – но мне всегда приходится по несколько раз повторять такие просьбы, чтобы их исполнили.

Это была высокая, изящная, немного медлительная в движениях женщина; скромно декольтированное платье чуть обнажало прекрасные плечи, плечи рыжеватой блондинки, бес-

подобные при вечернем освещении. Между тем волосы ее были не красноватыми, а того непередаваемого оттенка, какой бывает у опавших листьев, опаленных осенью.

Потом она представила г-на Мариоля своему отцу, который поклонился и подал ему руку.

Мужчины, разбившись на три группы, непринужденно беседовали, как у себя дома, в обычном своем кругу, которому присутствие женщины придавало оттенок галантности.

Толстяк Френель беседовал с графом де Марантенем. Постоянное присутствие Френеля в этом доме и предпочтение, которое оказывала ему г-жа де Бюрн, часто возмущало и сердило ее друзей. Еще молодой, но толстый, как сосиска, надутый, сопящий, почти безбородый, с головой, осененной зыбким облачком светлых и непокорных волос, такой заурядный, скучный, он в глазах молодой женщины имел, несомненно, заслугу, неприятную для остальных, но существенную для нее, – а именно то, что любил ее без памяти, сильнее и преданнее всех. Его окрестили «тюленем». Он был женат, но никогда не заикался о том, чтобы ввести в дом г-жи де Бюрн свою жену, которая, по слухам, даже издали очень ревновала его. Особенно Ламарт и Масиваль возмущались явной симпатией их приятельницы к этой сопелке, но когда они не выдерживали и упрекали ее в дурном вкусе, эгоистичном и заурядном, она отвечала, улыбаясь:

– Я люблю его, как славного, верного песика.

Жорж де Мальтри рассказывал Гастону де Ламарту о последнем, еще не изученном открытии микробиологов.

Де Мальтри сопровождал свои рассуждения бесконечными тонкими оговорками, но романист Ламарт слушал его с тем воодушевлением, с той доверчивостью, с какою литераторы, не задумываясь, воспринимают все, что кажется им самобытным и новым.

Великосветский философ, со светлыми, как лен, волосами, высокий и стройный, был затянут во фрак, тесно облегающий его талию. Тонкое лицо его, выступавшее из белого воротничка, было бледно, а светлые плоские волосы казались наклеенными.

Что касается Ламарта, Гастона де Ламарта, которому частица «де» внушала некоторые дворянские и великосветские притязания, то это был прежде всего литератор, неумолимый и беспощадный литератор. Вооруженный зорким взглядом, который схватывал образы, положения, жесты с быстротой и точностью фотографического аппарата, и наделенный пронизательностью и врожденным писательским чутьем, похожим на нюх охотничьей собаки, он с утра до ночи накапливал профессиональные наблюдения. Благодаря двум очень простым способностям – четкому восприятию внешних форм и инстинктивному постижению внутренней сущности – он придавал своим книгам оттенки, тон, видимость и остроту подлинной жизни, причем они отнюдь не обнаруживали тенденций, обычных для писателей-психологов, а казались кусками человеческой жизни, выхваченными из действительности.

Выход в свет романов Ламарта вызывал в обществе волнения, пересуды, злорадство и негодование, так как всегда казалось, что в них узнаешь известных людей, едва прикрытых прозрачной маской, а его появление в гостиных неизменно влекло за собою тревогу. К тому же он опубликовал том своих воспоминаний, где набросал портреты некоторых знакомых мужчин и женщин, хотя и без явного недоброжелательства, но с такою точностью и беспощадностью, что многие были задеты. Кто-то прозвал его «гроза друзей».

Об этом человеке с загадочной душой и замкнутым сердцем говорили, что он страстно любил когда-то женщину, причинившую ему много страданий, и что теперь он мстит другим.

Ламарт с Масивалем прекрасно понимали друг друга, хотя музыкант и был совсем другим человеком – более открытым, более увлекающимся, быть может, менее глубоким, зато более экспансивным. После двух крупных успехов – оперы, сначала исполненной в Брюсселе, а потом перенесенной в Париж, где ее восторженно встретили в Опера-Комик, и другого произведения, принятого и тотчас же поставленного в Гранд-Опера², где его высоко оценили, как

² Опера-Комик – парижский театр оперетты; Гранд-Опера – парижский театр оперы и балета.

предвестие прекрасного таланта, – он переживал своего рода упадок, который, как преждевременный паралич, постигает большинство современных художников. Они не стареют в лучах славы и успеха, как их отцы, а кажутся пораженными бессилием уже в самом расцвете сил. Ламарт говорил: «Теперь во Франции встречаются лишь неудавшиеся гении».

В то время Масиваль казался сильно увлеченным г-жой де Бюрн, и кружок уже поговаривал об этом; вот почему, когда он с благоговением целовал ее руку, все взоры обратились на него.

Он спросил:

– Мы опоздали?

Она ответила:

– Нет, я еще поджидаю барона де Гравиля и маркизу де Братиан.

– Ах, маркизу? Чудесно! Значит, мы займемся музыкой?

– Надеюсь.

Запоздавшие приехали. Маркиза была женщина, пожалуй, слишком полная для своего роста, итальянка по происхождению, живая, черноглазая, с черными бровями и ресницами, с черными волосами, столь густыми и обильными, что они спускались на лоб и затеняли глаза; она славилась среди светских женщин своим замечательным голосом.

Барон, человек с безупречными манерами, со впалой грудью и большой головой, казался вполне завершенным лишь с виолончелью в руках. Страстный меломан, он посещал только те дома, где ценили музыку.

Доложили, что кушать подано, и г-жа де Бюрн, взяв под руку Андре Мариоля, пропустила перед собою гостей. Когда она осталась с Мариолем последнею в гостиной, она, прежде чем последовать за остальными, искоса взглянула на него, и ему показалось, что в этих светлых глазах с черными зрачками он улавливает какую-то более сложную мысль, более острый интерес, чем те, которыми обычно утруждают себя красивые женщины, принимая гостя за своим столом в первый раз.

Обед прошел несколько уныло и однообразно. Ламарт нервничал и держался враждебно – не открыто враждебно, ибо всегда старался быть корректным, а он заражал всех тем почти неуловимым дурным настроением, которое леденит непринужденную беседу. Масиваль, мрачный и озабоченный, мало ел и исподлобья посматривал на хозяйку дома, мысли которой, казалось, витали где-то далеко. Она была невнимательна, отвечала с улыбкой, но тут же умолкала и, видимо, думала о чем-то хотя и не особенно увлекательном, но все же более интересном для нее в этот вечер, чем ее гости. Она старалась быть как можно предупредительнее к маркизе и Мариолю, но делала это по обязанности, по привычке, была явно рассеяна и занята чем-то другим. Френель и г-н де Мальтри спорили о современной поэзии. Френель придерживался на этот счет ходячих великосветских мнений, а г-н де Мальтри разъяснял суждения самых изощренных версификаторов, непостижимые для обывателей.



За обедом Мариоль еще несколько раз встречал пытливый взгляд молодой женщины, но уже более рассеянный, менее упорный, менее сосредоточенный. Только маркиза де Братиан, граф де Марантен и барон де Гравиль болтали без умолку и успели рассказать друг другу множество новостей.

Позднее Масиваль, который становился все сумрачнее, подсел к роялю и взял несколько аккордов. Г-жа де Бюрн словно ожила и наскоро устроила небольшой концерт из своих любимых произведений.

Маркиза была в голосе и, воодушевленная присутствием Масиваля, пела с подлинным мастерством. Композитор сопровождал ее с меланхолическим видом, который он всегда принимал играя. Его длинные волосы ниспадали на воротник фрака, смешиваясь с курчавой, широкой, блестящей и шелковистой бородой. Многие женщины были в него влюблены и, по слухам, преследовали его и сейчас. Г-жа де Бюрн, сидевшая около рояля, всецело погрузилась в музыку и, казалось, одновременно и любовалась музыкантом, и не видела его, так что Мариоль почувствовал легкую ревность. Он не ревновал именно ее и именно к нему, но, видя этот женский взгляд, зачарованный знаменитостью, он почувствовал себя уязвленным в своем мужском самолюбии, понимая, что женщины оценивают нас в зависимости от завоеванной нами славы. Не раз уже он втайне страдал, сталкиваясь со знаменитостями в присутствии женщин, благосклонность которых служит для многих высшею наградою за достигнутый успех.

Часов около десяти одна за другой приехали баронесса де Фремин и две еврейки из высших банковских сфер. Разговор шел об одной предстоящей свадьбе и о намечающемся разводе.

Мариоль смотрел на г-жу де Бюрн, которая сидела теперь у колонки, поддерживавшей огромную лампу.

Ее тонкий, слегка вздернутый нос, милые ямочки на щеках и подбородке придавали ей детски-шаловливый вид, несмотря на то что ей было уже под тридцать, а ее глаза, напоминавшие поблекший цветок, были полны какой-то волнующей тайны. Кожа ее в ярком вечернем освещении принимала оттенки светлого бархата, в то время как волосы, когда она поворачивала голову, загорались рыжеватыми отблесками.

Она почувствовала мужской взгляд, устремленный на нее с другого конца гостиной, и вскоре встала и направилась к Мариолу, улыбаясь, словно в ответ на его призыв.

– Вы, должно быть, соскучились? – сказала она. – В непривычном обществе всегда немного скучно.

Он запротестовал.

Она пододвинула стул и села около него.

И они сразу же разговорились. Это произошло внезапно, как вспыхивает спичка, поднесенная к пламени. Казалось, они уже давно знали взгляды и чувства друг друга, а одинаковая природа, воспитание, одинаковые склонности, вкусы предрасположили их к взаимному пониманию и предназначили им встретиться.

Быть может, тут сказала и ловкость молодой женщины, но радость при встрече с человеком, который слушает, угадывает твои идеи, отвечает и, возражая, дает толчок к дальнейшему развитию мысли, воодушевила Мариоля. Польщенный к тому же оказанным ему приемом, покоренный ее влекущей грацией, чарами, которыми она умела окутывать мужчин, он старался обнаружить перед ней особенности своего ума, немного приглушенного, но самобытного и тонкого, привлекавшего к нему тех немногочисленных, но истинных друзей, которые его хорошо знали.

Вдруг она сказала:

– Право, сударь, с вами очень приятно беседовать. Мне, впрочем, так и говорили.

Он почувствовал, что краснеет, и дерзнул ответить:

– А меня, сударыня, предупреждали, что вы...

– Договаривайте: кокетка? Да, я всегда кокетничаю с теми, кто мне нравится. Это всем известно, и я этого отнюдь не скрываю, но вы убедитесь, что мое кокетство совершенно беспристрастно, и это дает мне возможность сохранять... или возвращать себе друзей, никогда не теряя их окончательно, и удерживать их всех около себя.

Ее затаенная мысль, казалось, говорила: «Будьте спокойны и не слишком самоуверенны; не обольщайтесь, вам ведь достанется не больше, чем другим».

Он ответил:

– Это называется откровенно предупреждать своих гостей о всех опасностях, которым они здесь подвергаются.

Она открыла ему путь для разговора о ней. Он этим воспользовался. Он начал с комплиментов и убедился, что она их любит; потом подстрекнул ее женское любопытство, рассказав о том, что говорят на ее счет в различных кругах общества, где он бывает. Она слегка встревожилась и не могла скрыть, что это ее интересует, хотя и старалась проявить полное равнодушие к тому, что могут думать о ее образе жизни и вкусах.

Он рисовал ей лестный портрет женщины независимой, умной, незаурядной и обаятельной, которая окружила себя талантами и вместе с тем осталась безукоризненно светской.

Она отклоняла его комплименты с улыбкой, потому что, в сущности, была польщена; она слегка отнекивалась, но от души забавлялась всеми подробностями, которые он сообщал, и

шутя требовала все новых и новых, искусно выпытывая их с какою-то чувственной жадностью к лести.

Он думал, глядя на нее: «В сущности, это просто дитя, как и все женщины». И он закончил красивой фразой, воздав хвалу ее подлинной любви к искусству, столь редкой у женщин.

Тогда она неожиданно приняла насмешливый тон в духе той французской лукавой веселости, которая, по-видимому, является самой сущностью нашей нации.

Мариоль ее перехвалил. Она дала ему понять, что она не дурочка.

– Право же, – сказала она, – признаюсь вам, я и сама не знаю, что я люблю: искусство или художников.

Он возразил:

– Как можно любить художников, не любя самого искусства?

– Они иной раз интереснее светских людей.

– Да, но зато и недостатки их сказываются резче.

– Это правда.

– Значит, музыку вы не любите?

Она вдруг опять стала серьезной.

– О, нет. Музыку я обожаю. Я, кажется, люблю ее больше всего на свете. Тем не менее Масиваль убежден, что я в ней ровно ничего не понимаю.

– Он вам так сказал?

– Нет, он так думает.

– А откуда вы это знаете?

– О, мы, женщины если чего-нибудь и не знаем, то почти всегда догадываемся.

– Итак, Масиваль считает, что вы ничего не понимаете в музыке?

– Я в этом уверена. Я чувствую это хотя бы по тому, как он мне ее объясняет, как подчеркивает оттенки, а сам в то же время, вероятно, думает: «Все равно бесполезно; я это делаю только потому, что вы очень милы».

– А ведь он мне говорил, что во всем Париже не бывает таких прекрасных музыкальных вечеров, как у вас.

– Да, благодаря ему.

– А литературу вы не любите?

– Очень люблю и даже осмеливаюсь думать, что хорошо в ней разбираюсь, вопреки мнению Ламарта.

– Который тоже считает, что вы в ней ничего не понимаете?

– Разумеется.

– И который тоже не говорил вам об этом?

– Простите, он-то говорил. Он полагает, что некоторые женщины могут тонко и верно понимать выраженные чувства, жизненность действующих лиц, психологию вообще, но что им совершенно не дано ценить самое главное в его мастерстве: искусство. Когда он произносит слово «искусство», не остается ничего другого, как гнать его вон из дома.

Мариоль спросил, улыбаясь:

– А ваше мнение, сударыня?

Она немного подумала, потом пристально посмотрела на него, чтобы убедиться, что он действительно расположен ее выслушать и понять.

– У меня особое мнение на этот счет. Я думаю, что чувство... чувство – вы понимаете меня? – может раскрыть ум женщины для восприятия всего, что хотите; но только обычно это в нем не удерживается. Поняли меня?

– Нет, не совсем, сударыня.

– Я хочу сказать, что для того, чтобы сделать нас такими же ценителями, как мужчины, надо прежде всего обращаться к нашей женской природе, а потом уже к уму. Все то, что муж-

чина предварительно не позаботится сделать для нас привлекательным, мало нас интересует, потому что мы все воспринимаем через чувство. Я не говорю «через любовь», нет, а вообще через чувство, которое принимает различные формы, различные оттенки, различные выражения. Чувство – это наша сфера, которая вам, мужчинам, не понятна, потому что чувство вас ослепляет, в то время как нам оно светит. О, я вижу, что для вас все это очень неясно, но что же делать! Словом, если мужчина нас любит и нам приятен, – а ведь нужно сознавать себя любимой, чтобы быть способной на такое усилие, – и если этот мужчина человек незаурядный, – он может, если постарается, заставить нас все угадать, все почувствовать, во все проникнуть, решительно во все, и в иные мгновения он может по частям передать нам все свое духовное богатство. Конечно, обычно это потом исчезает, гаснет, потому что мы ведь легко забываем, – да, забываем, как воздух забывает прозвучавшие слова! Мы наделены интуицией и прозрением, но мы изменчивы, впечатлительны и преображаемся под влиянием окружающего. Если бы вы только знали, как часто сменяются во мне душевные состояния, как я становлюсь совершенно другой женщиной в зависимости от погоды, здоровья, прочитанной книги или увлекательного разговора! Право, иногда у меня душа примерной матери семейства, хоть и без детей, а иной раз – почти что душа кокетки... без любовников.

Он был очарован и спросил:

– И вы думаете, что почти все умные женщины способны на такую активность мысли?

– Да, – сказала она. – Только они постепенно коснеют, а окружающая среда безвозвратно увлекает их в ту или иную сторону.

Он снова спросил:

– Значит, в сущности, музыку вы предпочитаете всему?

– Да. Но то, что я вам сейчас говорила, так верно! Конечно, я не любила бы ее настолько и не наслаждалась бы ею в такой мере, если бы не этот ангел Масиваль. Во все произведения великих композиторов, которые я и без того страстно любила, он вдохнул душу, играя их для меня. Как жаль, что он женат!

Она произнесла последние слова шутливо, но с таким глубоким сожалением, что они заглушили все – и ее рассуждения о женщинах, и ее восторг перед искусством.

Масиваль действительно был женат. Еще до того, как достигнуть успеха, он заключил один из тех союзов, нередких в мире искусства, которые впоследствии приходится влечь за собою сквозь славу до самой смерти.

Впрочем, он никогда не говорил о своей жене, не вводил ее в свет, где сам постоянно бывал, и хоть у него было трое детей, об этом почти никто не знал.

Мариоль засмеялся. Решительно, это милая женщина, редкостного типа, очень красивая, полная неожиданностей! Он настойчиво, не отрываясь, взглядывался в нее, – это, видимо, ее ничуть не стесняло, – взглядывался в это серьезное и веселое лицо, чуть-чуть своенравное, с задорным носиком, с теплым оттенком кожи, осененное белокурыми волосами яркого, но мягкого тона, в это лицо, пламеневшее разгаром лета и зрелостью такой безупречной, нежной и упоительной, словно она именно в этом году, в этом месяце достигла полного расцвета. Он думал: «Не красится ли она?» – и старался уловить у корней волос более темную или более светлую полоску, но не находил ее.

Глухие шаги по ковру заставили его встрепенуться и повернуть голову. Два лакея вносили чайный столик. В большом серебряном приборе, блестящем и сложном, как химический аппарат, тихо бурлила вода, подогреваемая синим пламенем спиртовки.

– Можно предложить вам чашку чая? – спросила она.

Когда он согласился, она встала и прямой походкой, изысканной в самой своей твердости, не раскачиваясь, подошла к столику, где пар шумел во чреве этого прибора, среди цветника пирожных, печенья, засахаренных фруктов и конфет.

Теперь ее силуэт четко вырисовывался на обоях гостиной, и Мариоль обратил внимание на тонкость ее талии, изящество бедер в сочетании с широкими плечами и полной грудью, которыми он только что любовался. А так как ее светлое платье, извиваясь, раскинулось за нею и, казалось, бесконечно растягивало по ковру ее тело, у него мелькнула грубая мысль: «Вон оно что: сирена! Одни обещания!»

Теперь она обходила гостей, с чарующей грацией предлагая лакомства.

Мариоль следил за нею глазами, когда Ламарт, блуждавший с чашкою в руке, подошел к нему и спросил:

- Уйдем вместе?
- Разумеется.
- Сейчас же, хорошо? Я устал.
- Сейчас пойдем.

Они вышли.

На улице писатель спросил:

- Вы домой или в клуб?
- Зайду в клуб на часок.
- К «Барабанщикам»?
- Да.
- Я провожу вас до подъезда. На меня такие места наводят тоску; никогда там не бываю.

Я состою членом, только чтобы пользоваться экипажем.

Они взялись под руку и пошли по направлению к церкви Сент-Огюстен.

Пройдя несколько шагов, Мариоль спросил:

- Какая странная женщина! Какого вы о ней мнения?

Ламарт громко рассмеялся.

– Это уже начинается кризис, – сказал он. – Вы пройдете через него, как и все мы; теперь я излечился, но и я переболел в свое время. Друг мой! Кризис выражается в том, что, собравшись вместе или встретившись где бы то ни было, ее друзья говорят только о ней.

– Что касается меня, то я говорю о ней в первый раз, и это вполне естественно, раз я еле знаком с нею.

– Пусть так. Поговорим о ней. Знайте же: вы влюбитесь в нее. Это неизбежно; через это проходят все.

- Значит, она так обворожительна?

– И да и нет. Те, кому нравятся женщины былых времен, женщины душевные, сердечные, чувствительные, женщины из старинных романов, – те не любят и даже ненавидят ее до такой степени, что начинают говорить о ней всякие гадости. Ну а мы, ценящие обаяние современности, мы вынуждены признать, что она восхитительна, – пока не привяжешься к ней. А вот все как раз и привязываются. Впрочем, от этого не умирают, да и страдают не очень; зато бесятся, что она такая, а не иная. Если она захочет – и вы это испытаете. Да она уже расставила вам сети.

Мариоль воскликнул, выражая свою затаенную мысль:

– Ну, я для нее – первый встречный. Мне кажется, она ценит прежде всего титулы и отличия.

– Да, это она любит! Что и говорить! Но в то же время ей на них наплевать. Самый знаменитый, самый модный и даже самый выдающийся человек и десяти раз не побывает у нее, если он ей не нравится; зато она нелепейшим образом привязана к этому болвану Френелю и противному де Мальтри. Она почему-то нянчится с беспардонными идиотами, – может быть, оттого, что они забавляют ее больше, чем мы, а быть может, и потому, что они, в сущности, сильнее ее любят: ведь женщины к этому чувствительнее, чем ко всему остальному.

И Ламарт стал говорить о ней, анализируя, рассуждая, начинал сызнова, чтобы опровергнуть самого себя, и на вопросы Мариоля отвечал с искренним жаром, как человек заинтере-

сованный, увлеченный темой, но и немного сбитый с толку, и высказал много удачных наблюдений и ложных выводов.



Он говорил: «Но ведь она не единственная; в наше время похожих на нее женщин найдется полсотни, если не больше. Да вот хотя бы тоненькая Фремин, которая сейчас приехала к ней, – совершенно такая же, но более смелая в повадках; она замужем за странным субъектом, и это делает ее дом любопытнейшим домом сумасшедших во всем Париже. Я и в этой кунсткамере часто бываю».

Они, не замечая, прошли бульвар Мальзерб, улицу Руаяль, аллею Елисейских Полей и уже подходили к Триумфальной арке, когда Ламарт вдруг вынул часы.

– Друг мой, – сказал он, – вот уже час десять минут, как мы говорим о ней; хватит на сегодня! В клуб я вас провожу в другой раз. Идите-ка спать, и я тоже.

II

Это была просторная, светлая комната, потолок и стены которой были обтянуты чудесной персидской тканью, привезенной знакомым дипломатом. Фон был желтый, словно ее окунули в золотистые сливки, а рисунки – разных оттенков, среди которых выделялась персидская зелень; они изображали причудливые, с загнутыми крышами, домики, вокруг которых рыскали диковинные львы в париках, бродили антилопы, украшенные чудовищными рогами, и летали птички, словно выпорхнувшие из рая.

Мебели было немного. На трех продолговатых столах с зелеными мраморными досками находилось все необходимое для дамского туалета. На среднем – большие тазы из толстого хрусталя. Второй был занят целой батареей флаконов, шкатулок и ваз всевозможных размеров, с серебряными крышками, украшенными вензелями. На третьем были разложены бесчисленные приборы и инструменты, созданные к услугам современного кокетства и предназначенные для сложных, таинственных и деликатных целей. В комнате стояло всего лишь две кушетки

и несколько низеньких табуреток, обитых мягкой стеганой материей, для отдыха уставшего обнаженного тела. Дальше целую стену занимало огромное трюмо, раскинувшееся, как светлый горизонт. Оно состояло из трех створок, причем боковые, подвижные, позволяли молодой женщине видеть себя одновременно и прямо, и сбоку, и со спины, замыкаясь в собственном своем изображении. Справа, в нише, обычно затянутой драпировкой, помещалась ванна, или, вернее, глубокий водоем, тоже из зеленого мрамора, к которому спускались две ступеньки. Бронзовый Амур, сидящий на краю ванны, – изящная статуэтка работы Пределэ – лил в нее холодную и горячую воду из двух раковин, которыми он играл. В глубине этого убежища поднималось венецианское зеркало из наклонно поставленных стекол с гранеными краями; образуя круглый свод, оно защищало, укрывало и отражало в каждой своей частице и водоем и купальщицу.

Немного дальше стоял письменный стол превосходной, но простой современной английской работы, усеянный разбросанными бумажками, сложенными письмами, разорванными конвертами с блестящими золотыми вензелями. Здесь она писала и вообще проводила время, когда бывала одна.

Растянувшись на кушетке, в китайском кашемировом капоте, г-жа де Бюрн отдыхала после ванны; ее обнаженные руки, прекрасные, гибкие и упругие, смело выступали из глубоких складок материи, а подобранные кверху и туго скрученные рыжеватые волосы лежали на голове тяжелой массой.

В дверь постучалась горничная и, войдя, подала письмо.

Г-жа де Бюрн взяла его, посмотрела на почерк, распечатала, прочла первые строки и спокойно сказала камеристке: «Я позвоню вам через час».

Оставшись одна, она радостно и победоносно улыбнулась. Первых слов было достаточно, чтобы понять, что это – долгожданное признание в любви Мариоля. Он сопротивлялся гораздо дольше, чем она могла предполагать, потому что вот уже три месяца, как она его обольщала, пустив в ход все свое обаяние, всю свою чарующую прелесть и оказывая ему знаки внимания, каких еще не расточала ни перед кем. Он казался недоверчивым, предубежденным, настороженным против нее, против постоянно расставленных сетей ее ненасытного кокетства. Потребовалось немало душевных бесед, в которые она вкладывала все свое внешнее очарование, всю покоряющую силу своего ума, и немало музыкальных вечеров, когда возле еще звучащего рояля, возле страниц партитуры, полных певучей души композитора, они содрогались от одних и тех же чувств, – чтобы она наконец заметила во взгляде этого покоренного человека униженную мольбу изнемогающей любви. Она-то, кокетка, хорошо разбиралась в этом! Она так часто с кошачьей ловкостью и неутомимым любопытством вызывала в мужчинах, которых ей удавалось пленить, этот сокровенный и жестокий недуг! Она радовалась, видя, как постепенно заполняет их, как покоряет, властвует над ними, благодаря непреодолимому женскому могуществу, как становится для них Единственной, становится своим равным и властным Кумиром. Инстинкт войны и завоеваний развился в ней постепенно, как развиваются скрытые инстинкты. Быть может, еще в годы замужества в ее сердце зародилась потребность возмездия, смутная потребность отплатить мужчинам за то, что она вытерпела от одного из них, одержать верх, сломить их волю, сокрушить их сопротивление и, в свою очередь, причинить боль. А главное, она была рождена кокеткой, и, едва почувствовав себя свободной, она стала преследовать и укрощать поклонников, как охотник преследует дичь, – просто ради удовольствия видеть их поверженными. Но сердце ее не жаждало волнений, как сердца нежных и чувствительных женщин; она не искала ни всепоглощающей страсти одного мужчины, ни счастья взаимной любви. Ей только нужно было видеть вокруг себя всеобщий восторг, внимание, преклонение, фимиам нежности. Всякий, кто становился ее постоянным гостем, должен был стать также и рабом ее красоты, и никакой духовный интерес не был в состоянии надолго привлечь ее к тем, кто противился ее кокетству, пренебрегал любовью вообще или любил другую.

Чтобы стать ее другом, надо было влюбиться в нее; зато к влюбленным она проявляла необычайную предупредительность, чарующее внимание, бесконечную ласковость, чтобы сохранить возле себя тех, кого она покорила. Тот, кто однажды был зачислен в свиту ее поклонников, принадлежал ей как бы по праву войны. Она управляла ими с мудрым умением, сообразно с их недостатками, достоинствами и с характером их ревности. Тех, кто предъявлял чрезмерные требования, она изгоняла, когда находила нужным, а после того, как они смирились, вновь допускала их, поставив им суровые условия, и, как избалованная девочка, настолько тешилась этой игрой обольщения, что ей казалось одинаково упоительным и сводить с ума стариков, и кружить головы юношам.

Можно было бы даже сказать, что она сообразовала свое расположение с внушенной ею любовью; и толстяк Френель, бесполезный и неповоротливый статист, был одним из ее любимцев только потому, что она знала и чувствовала, какую неистовую страстью он одержим.

Она не была вполне равнодушна к мужскому обаянию; но она испытала лишь зачатки увлечений, известные ей одной и пресеченные в тот момент, когда они могли бы стать опасными.



Каждый новичок приносил своим любовным славословием новую нотку, а также неведомую сущность своей души – особенно люди искусства, в которых она чуяла более яркие и тонкие оттенки, изысканность и изощренность чувств, периодически пробуждавшие в ней мечту о великих страстях и продолжительных связях. Но, находясь всегда во власти страха и осторожности, нерешительная, колеблющаяся, недоверчивая, она всегда сдерживала себя, пока наконец поклонник переставал ее волновать. Кроме того, она, как дочь своего времени, была наделена тем скептическим взглядом, который быстро совлекает ореол даже с самых великих

людей. Как только они влюблялись в нее и в сердечном смятении утрачивали свои торжественные манеры и величественные привычки, они начинали казаться ей все одинаковыми – жалкими созданиями, над которыми она властвует силою своего обаяния.

Словом, чтобы такая совершенная женщина, как она, могла полюбить мужчину, он должен был бы обладать неслыханными достоинствами.

А между тем она очень скучала. Она не любила светского общества, в котором бывала, лишь подчиняясь предрассудку, и где терпеливо просиживала долгие вечера, подавляя зевоту и сонливость; она забавлялась там только изощренной болтовней, своими задорными причудами, своим переменчивым любопытством к тем или иным вещам и людям, она увлекалась тем, чем любовалась и что ценила, лишь настолько, чтобы не слишком скоро почувствовать к этому отвращение, но не до такой степени, чтобы найти истинную радость в привязанности или в прихоти; терзаемая нервами, а не желаниями, чуждая волнений, обуревающих простые и пылкие души, – она жила в веселой суете, без наивной веры в счастье, ища только развлечений и уже изнемогая от усталости, хотя и считала себя удовлетворенной.

Она считала себя удовлетворенной потому, что находила себя самой обольстительной и щедро одаренной женщиной. Гордая своим обаянием, могущество которого она часто испытывала на окружающих, влюбленная в свою своеобразную, причудливую и пленительную красоту, уверенная в тонкости своего восприятия, позволяющего ей предугадывать и понимать множество вещей, которых не видят другие, гордясь своим умом, высоко ценимым столькими выдающимися людьми, и не сознавая ограниченности своего кругозора, она считала себя существом, ни с чем не сравнимым, редкостной жемчужиной в этом пошлом мире, который казался ей пустым и однообразным, потому что она была для него слишком хороша.

Никогда в ней не возникало даже подозрения, что она сама – неосознанная причина постоянной скуки, которая томит ее; она винила в этом окружающих и возлагала на них ответственность за свою меланхолию. Если им не удавалось забавлять ее, веселить, а тем более восхищать – так только потому, что им не хватало привлекательности и подлинных достоинств. «Все убийственно скучно, – говорила она смеясь. – Терпимы только те, которые мне нравятся, и только потому, что они мне нравятся».

А нравились ей преимущественно те, которые находили ее несравненной. Прекрасно зная, что успех не дается без труда, она прилагала все старания, чтобы обольщать, и не знала ничего приятнее, как наслаждаться данью восторженного взгляда и умиленного сердца – этого неистового мускула, который приходит в трепет от одного слова.

Она очень удивлялась, что ей так трудно покорить Андре Мариоля, потому что с первого же дня ясно почувствовала, что нравится ему. Потом мало-помалу она разгадала его недоверчивую природу, втайне уязвленную, очень глубокую и сосредоточенную, и, играя на его слабостях, стала оказывать ему столько внимания, такое предпочтение и искреннюю симпатию, что он в конце концов сдался.

Особенно за последний месяц она стала чувствовать, что он смущается в ее присутствии, что он покорен, молчалив и лихорадочно возбужден. Но он все еще удерживался от признания. Ах, признания! В сущности, она не очень-то любила их, потому что, если они бывали чересчур пылки, чересчур красноречивы, ей приходилось проявлять жестокость. Два раза она даже была вынуждена рассердиться и отказать от дома. Но она обожала робкие проявления любви, полупризнания, скромные намеки, тайное преклонение; и она в самом деле проявляла исключительный такт и ловкость, добиваясь от своих поклонников такой сдержанности.

Вот уж месяц, как она ждала и подстерегала на губах Мариоля слова, в которых изливается томящееся сердце, – ясные или только намекающие, в зависимости от характера человека.

Он не сказал ни слова, зато он пишет ей. Письмо было длинное, целых четыре страницы! Она держала его в руках, охваченная радостным трепетом. Она растянулась на кушетке, скинула на ковер туфельки, чтобы устроиться поудобнее, и стала читать. Она была удивлена. Он

в серьезных выражениях говорил ей, что не хочет из-за нее страдать и что уже достаточно хорошо знает ее и не хочет быть ее жертвой. В очень учтивых фразах, преисполненных комплиментов, в которых всюду прорывалась сдерживаемая страсть, он признавался, что ему известна ее манера вести себя с мужчинами, что он тоже пленен, но решил сбросить с себя грозящее ему иго, уйти от нее. Он просто-напросто возвращается к своей прежней скитальческой жизни, он уезжает.

Это было прощание, красноречивое и решительное.

Она была искренне удивлена, читая, перечитывая, вновь возвращаясь к этим четырем страницам такой нежно-взволнованной и страстной прозы. Она встала, надела туфли, стала ходить по комнате, закинув назад рукава и обнажив до плеча руки, которые прятала в кармашки халата, комкая письмо.

Она думала, ошеломленная таким непредвиденным признанием: «А человек этот пишет превосходно: искренне, взволнованно, трогательно. Он пишет лучше Ламарта: его письмо не отзывается романом».

Ей захотелось курить, она подошла к столику с духами и взяла папироску из саксонской фарфоровой табакерки. Закурив, она направилась к зеркалу и увидела в трех различно направленных створках трех приближающихся молодых женщин. Подойдя совсем близко, она остановилась, слегка поклонилась себе, слегка улыбнулась, слегка, по-дружески, кивнула головой, как бы говоря: «Прелестна! Прелестна!» Она всмотрелась в свои глаза, полюбовалась зубами, подняла руки, положила их на бедра и повернулась в профиль, слегка склонив голову, чтобы как следует разглядеть себя во всех трех зеркалах.

И она замерла во влюбленном созерцании, стоя лицом к лицу с самой собою, окруженная тройным отражением своего тела, которое она находила очаровательным; она восторгалась собою, была охвачена себялюбивым и плотским удовольствием от своей красоты и смаковала ее с радостью, почти столь же чувственной, как у мужчин.

Так любовалась она собою каждый день, и ее камеристка, часто заставлявшая ее перед зеркалом, говорила не без ехидства: «Барыня так глядится в зеркала, что скоро их насквозь проглядит».

Но в этой любви к самой себе и заключался секрет ее обаяния и ее власти над мужчинами. Она так любовалась собою, так холила изящество своего облика и прелесть всей своей особы, выискивая и находя все, что могло еще больше подчеркнуть их, так подбирала неуловимые оттенки, делавшие ее чары еще неотразимее, а глаза – еще необыкновеннее, и так искусно прибегала ко всем уловкам, украшавшим ее в ее собственном мнении, что исподволь находила все то, что могло особенно понравиться окружающим.

Будь она еще прекраснее, но более равнодушна к своей красоте, она не обладала бы той обольстительностью, которая внушала к ней любовь почти всем, кому не был чужд от природы самый характер ее очарования.

Вскоре, немного устав стоять, она сказала своему изображению, все еще улыбавшемуся ей (и изображение в тройном зеркале зашевелило губами, повторяя ее слова): «Мы еще посмотрим, сударь». Потом, пройдя через комнату, она села за письменный стол.

Вот что она написала:

«Дорогой г. Мариоль, зайдите поговорить со мною завтра, часа в четыре. Я буду одна, и, надеюсь, мне удастся успокоить Вас относительно той мнимой опасности, которая Вас страшит.
Я Вам друг и докажу Вам это.
Мишель де Бюрн».

Как скромно она оделась на другой день, чтобы принять Андре Мариоля! Простое серое платье – светло-серое, чуть лиловатое, меланхоличное, как сумерки; и совсем гладкое, с ворот-

ником, облегающим шею, с рукавами, облегающими руки, с корсажем, облегающим грудь и талию, и юбкой, облегающей бедра и ноги.

Когда он вошел с несколько торжественным выражением лица, она направилась ему навстречу, протянув обе руки. Он поцеловал их, и они сели; несколько мгновений она молчала, желая удостовериться в его смущении.

Он не знал, с чего начать, и ждал, чтобы она заговорила.

Наконец она решилась.

– Ну, что ж! Приступим прямо к главному вопросу. Что случилось? Вы мне написали, знаете ли, довольно дерзкое письмо.



Он ответил:

– Знаю и приношу вам свои извинения. Я бываю и всегда был со всеми чрезвычайно, до грубости откровенен. Я мог бы удалиться без тех неуместных и оскорбительных объяснений, с которыми я к вам обратился. Но я счел более честным поступить сообразно со своим характером и положиться на ваш ум, хорошо мне известный.

Она возразила с состраданием, но втайне довольная:

– Постойте, постойте! Что это за безумие?...

Он перебил ее:

– Лучше об этом не говорить.

Тут она с живостью прервала его, не давая ему продолжать:

– А я пригласила вас именно для того, чтобы поговорить об этом. И мы будем говорить до тех пор, пока вы вполне не убедитесь, что вам не грозит решительно никакой опасности.

Она засмеялась, как школьница, и ее скромное платье придавало этому смеху что-то ребяческое.

Он прошептал:

– Я вам написал правду, истинную правду, страшную правду, которая пугает меня.

Она опять стала серьезной и ответила:

– Пусть так; мне это знакомо. Через это проходят все мои друзья. Вы написали мне также, что я отчаянная кокетка; признаю это, но от этого никто не умирает, никто даже, кажется, особенно не страдает. Случается то, что Ламарт называет «кризисом». Вы как раз и находитесь в состоянии кризиса, но это проходит, и тогда впадают... как бы это сказать... в хроническую влюбленность, которая уже не причиняет страданий и которую я поддерживаю на медленном огне у всех моих друзей, чтобы они были мне как можно преданнее, покорнее, вернее. Ну, что? Согласитесь, что я тоже искренна, и откровенна, и резка. Много ли вы встречали женщин, которые осмелились бы сказать то, что я вам сейчас говорю?

У нее был такой забавный и решительный вид, такой простодушный и в то же время задорный, что и он не мог не улыбнуться.

– Все ваши друзья, – сказал он, – люди, уже не раз горевшие в этом огне, прежде чем их воспламенили вы. Они уже пылали и обгорели, им легче переносить жар, в котором вы их держите. Я же, сударыня, еще никогда не испытал этого. И с некоторых пор я предвижу, что если я отдамся чувству, которое растет в моем сердце, это будет ужасно.

Она вдруг стала непринужденно простой и, немного склонясь к нему, сложив на коленях руки, сказала:

– Слушайте, я не шучу. Мне грустно терять друга из-за страха, который кажется мне призрачным. Вы полюбите меня – пусть так. Но нынешние мужчины не любят современных женщин до такой степени, чтобы действительно страдать из-за них. Поверьте мне, я знаю и тех и других.

Она замолчала, потом добавила со странной улыбкой, как женщина, которая говорит правду, воображая, что лжет:

– Полноте, во мне нет того, за что можно было бы влюбиться в меня без ума. Я слишком современна. Поверьте мне, я буду вам другом, хорошим другом, к которому вы по-настоящему привяжетесь, но и только, – уж я об этом позабочусь.

И она прибавила более серьезно:

– Во всяком случае, предупреждаю вас, что сама я неспособна по-настоящему увлечься никем, что я буду относиться к вам так же, как ко всем остальным, как к тем, к кому я отношусь хорошо, но не больше того. Я не выношу деспотов и ревнивцев. От мужа я вынуждена была все переносить, но от друга, просто от друга, я не желаю терпеть никакой любовной тирании, отравляющей сердечные отношения. Видите, как я мила с вами, я говорю по-товарищески, ничего не скрывая. Согласны вы на честный опыт, который я вам предлагаю? Если из этого ничего не выйдет, вы всегда успеете удалиться, как бы серьезен ни был ваш недуг. А с глаз долой – из сердца вон.

Он смотрел на нее, уже побежденный звуком ее голоса, ее жестами, всей опьяняющей прелестью ее существа, и прошептал, совсем покоренный и трепещущий от ее близости:

– Я согласен, сударыня. И если мне будет тяжело, тем хуже для меня. Вы стоите того, чтобы ради вас страдали.

Она прервала его.

– А теперь не будем больше говорить об этом, – сказала она. – Не будем никогда.

И она перевела разговор на темы, уже не волновавшие его.

Через час он вышел от нее, терзаясь – потому что любил ее, и радуясь – потому что она просила его, а он ей обещал не уезжать.

III

Он терзался, потому что любил ее. В отличие от заурядных влюбленных, которым женщина, избранница их сердца, предстает в ореоле совершенств, он увлекся ею, взирая на нее трезвым взглядом недоверчивого и подозрительного мужчины, ни разу в жизни не плененного до конца. Его тревожный, пронизательный и медлительный ум, всегда настороженный, предохранял его от страстей. Несколько увлечений, два недолгих романа, зачахнувших от скуки, да оплаченные связи, прерванные от отвращения, – вот вся история его сердца. Он смотрел на женщин как на вещь, необходимую для тех, кто желает обзавестись уютным домом и детьми, или как на предмет, относительно приятный для тех, кто ищет любовных развлечений.



Когда он познакомился с г-жой де Бюрн, он был предубежден против нее признаниями ее друзей. То, что он знал о ней, интересовало его, интриговало, нравилось ему, но было ему немного противно. В принципе ему были непонятны такие никогда не расплачивающиеся игроки. После первых встреч он стал соглашаться, что она действительно очень своеобразна и наделена особым, заразительным обаянием. Природная и умело подчеркнутая красота этой стройной, изящной белокурой женщины, казавшейся одновременно и полной и хрупкой, с прекрасными руками, созданными для объятий и ласк, с длинными и тонкими ногами, созданными для бега, как ноги газели, с такими маленькими ступнями, что они не должны бы оставлять и следов, казалась ему символом тщетных упований. Кроме того, в беседах с нею он находил удовольствие, которое раньше считал невозможным в светском разговоре. Одаренная умом, полным непосредственной, неожиданной и насмешливой живости и ласковой иронии, она порою поддавалась, однако, воздействию чувства, мысли или образа, словно в глубине ее игривой веселости еще витала тень поэтической нежности наших прабабушек. И это делало ее восхитительной.

Она оказывала ему знаки внимания, желая покорить его, как и других; и он бывал у нее так часто, как только мог: возраставшая потребность видеть ее влекла его к ней все больше и больше. Им словно завладела какая-то сила, исходящая от нее, сила обаяния, взгляда, улыбки, голоса, сила неотразимая, хоть он и уходил от нее часто раздраженный каким-нибудь ее поступком или словом.

Чем больше он чувствовал себя захваченным теми непостижимыми флюидами, которыми заполняет и покоряет нас женщина, тем глубже он разгадывал, понимал ее сущность и мучился, так как горячо желал, чтобы она была иною.

Но то, что он осуждал в ней, обворожило и покорило его, вопреки его воле, наперекор разуму, пожалуй, даже больше, чем истинные ее достоинства.

Ее кокетство, которым она откровенно играла, словно веером, раскрывая или складывая его на виду у всех, смотря по тому, кто ее собеседник и нравится ли он ей; ее манера ничего не принимать всерьез, которая сначала забавляла его, а теперь пугала; ее постоянная жажда развлечений, новизны, всегда неутолимая в ее усталом сердце, – все это иной раз приводило его в такое отчаяние, что, возвратясь домой, он принимал решение бывать у нее реже, а потом и вовсе прекратить посещения.

На другой день он уже искал повода пойти к ней. И по мере того, как он все больше и больше увлекался, он все острее сознавал безнадежность этой любви и неизбежность предстоящих страданий.

О, он не был слеп; он погружался в это чувство, как человек, который тонет от усталости, – лодка его пошла ко дну, а берег слишком далеко. Он знал ее настолько, насколько можно было ее знать, потому что ясновидение, сопутствующее страсти, обострило его пронизательность, и он уже не мог не думать о ней беспрестанно. С неутомимым упорством он старался разобраться в ней, осветить темные глубины этой женской души, это непостижимое сочетание игривого ума и разочарованности, рассудительности и ребячества, внешней задушевности и непостоянства – все эти противоречивые свойства, собранные воедино и согласованные, чтобы получилось существо редкостное, обольстительное и сбивающее с толку.

Но почему она так обольщает его? Он без конца задавал себе этот вопрос и все же не мог понять, так как его, наделенного рассудительной, наблюдательной и гордо-сдержанной натурой, должны были бы привлекать в женщине старинные, спокойные качества: нежность, привязанность, постоянство, которые служат залогом счастья мужчины.

В этой же он находил нечто неожиданное, какую-то новизну, волнующую свою необычностью, одно из тех существ, которые кладут начало новым поколениям, отличаются от всего известного ранее и излучают, даже в силу своих несовершенств, страшное обаяние, таящее в себе угрозу.

Страстных, романтических мечтательниц Реставрации³ сменили жизнерадостные женщины Второй империи⁴, убежденные в реальности наслаждения, а теперь появляется новая разновидность вечно женственного: утонченное создание, с изменчивой чувствительностью, с тревожной, нерешительной, мятущейся душой, испробовавшее как будто уже все наркотики, успокаивающие или раздражающие нервы – и дурманящий хлороформ, и эфир, и морфий, которые возбуждают грезы, заглушают чувства и усыпляют волнение.

Он наслаждался в ней прелестью тепличного создания, предназначенного и приученного чаровать. Это был редкостный предмет роскоши, притягательный, восхитительный и хрупкий, на котором задерживается взор, возле которого бьется сердце и возбуждаются желания, подобно тому, как возбуждается аппетит при виде тонких яств, отделенных от нас витриной, но приготовленных и выставленных напоказ именно для того, чтобы вызвать в нас чувство голода.

Когда он вполне убедился в том, что катится по наклонной плоскости в бездну, он с ужасом стал размышлять об опасностях своего увлечения. Что станет с ним? Как поступит она? Она, конечно, обойдется с ним так же, как, по-видимому, обходилась со всеми: доведет его до того состояния, когда следуешь всем прихотям женщины, как собака следует по пятам хозяина, а потом определит ему место в своей коллекции более или менее знаменитых друзей.

³ Реставрация – период истории Франции с 1814 по 1830 год.

⁴ Вторая империя. – Здесь имеется в виду период Второй империи (1852–1870).

Но правда ли, что она поступала так со всеми остальными? Неужели нет среди них ни одного, ни единого, которого бы она любила, действительно любила бы – месяц, день, час, – в одном из тех быстро подавляемых порывов, которым отдавалось ее сердце?

Он без конца говорил о ней с другими после ее обедов, где все они воспламенялись от общения с нею. Он чувствовал, что все они взволнованы, недовольны, измучены, как люди, не получившие подлинного удовлетворения.

Нет, она не любила ни одного из этих героев, вызывающих любопытство толпы; но он, бывший ничем по сравнению с ними, он, чье имя, произнесенное на улице или в гостиной, не заставляло никого оборачиваться и не привлекало к нему ничьих взглядов, – чем станет он для нее? Ничем, ничем; статистом, знакомым, тем, кто для таких избалованных женщин становится заурядным гостем, полезным, но лишенным привлекательности, как вино без букета, вино, разбавленное водой.

Будь он знаменитостью, он еще согласился бы на такую роль, потому что его слава сделала бы ее менее унижительной. Но он не пользовался известностью, а потому не соглашался на это. И он написал ей прощальное письмо.

Получив несколько слов в ответ, он был взволнован, словно его посетило счастье, а когда она взяла с него обещание, что он не уедет, он ликовал, точно избавился от какой-то беды.

Прошло несколько дней, ничего не изменивших в их отношениях; но когда миновало успокоение, следующее за кризисом, он почувствовал, как желание растет и сжигает его. Он решил никогда ей больше ни о чем не говорить, но он не давал обещания не писать ей. И вот как-то вечером, когда он не мог сомкнуть глаз, когда ее образ владел им в его мятежной бессоннице, вызванной любовным волнением, он почти против воли сел за стол и стал на листке бумаги изливать свои чувства. Это было не письмо, это были заметки, фразы, мысли, страдальческие содрогания, превращавшиеся в слова.

Это его успокоило: ему казалось, что он немного избавился от своей тоски; он лег и мог наконец уснуть.

На другое утро, едва проснувшись, он перечел эти несколько страниц, нашел, что они полны трепета, вложил их в конверт и надписал адрес, но отправил письмо на почту только поздно вечером, чтобы она получила его при пробуждении.

Он был уверен, что эти листки не возмутят ее. К письму, в котором искренне говорится о любви, даже самые целомудренные женщины относятся с безграничной снисходительностью. И письма эти, написанные человеком, у которого дрожат руки, а взгляд опьянен и околдован одним-единственным видением, имеют непреодолимую власть над сердцами.

Вечером он отправился к ней, чтобы узнать, как она его примет и что ему скажет. Он застал у нее г-на де Прадона, который курил, беседуя с дочерью. Он часто проводил так возле нее целые часы, обращаясь с ней скорее как с обаятельной женщиной, чем как с дочерью. Она придавала их отношениям и чувствам оттенок того любовного преклонения, которое питала к самой себе и которого требовала от всех.

Когда она увидела входящего Мариоля, на лице ее блеснуло удовольствие; она с живостью протянула ему руку; ее улыбка говорила: «Я рада вам».

Мариоль надеялся, что отец скоро уйдет. Но г-н де Прадон не уходил. Он хорошо знал свою дочь и давно уже не сомневался в ней, считая ее лишенной сексуальности, но все-таки следил за нею с настороженным, тревожным, почти супружеским вниманием. Ему хотелось знать, какие шансы на длительный успех имеет этот новый друг, знать, что он собою представляет, чего он стоит. Окажется ли он просто прохожим, как столько других, или станет членом привычного кружка?

Итак, он расположился надолго, и Мариоль тотчас же понял, что удалить его не удастся. Он примирился с этим и даже решил попытаться обворожить его, считая, что благосклонность

или хотя бы безразличие все-таки лучше, чем неприязнь. Он изощрялся в остроумии, был весел, развлекал, ничем не выдавая своей влюбленности.

Она была довольна и подумала: «Он неглуп и прекрасно разыгрывает комедию». А г-н де Прадон рассуждал: «Вот милый человек! Ему моя дочь, по-видимому, не вскружила голову, как прочим дуракам».

Когда Мариоль счел уместным откланяться, он оставил их обоих очарованными.

Зато сам он выходил из ее дома с отчаянием в душе. Возле этой женщины он уже страдал от плена, в котором она держала его, и сознавал, что будет стучаться в это сердце так же тщетно, как заключенный стучится в железную дверь темницы.

Она завладела им – это было ему ясно, и он не пытался освободиться. Тогда, не будучи в силах избежать рока, он решил быть хитрым, терпеливым, стойким, скрытным, ловко завоевать ее преклонением, которого она так жаждет, обожанием, которое ее пьянит, добровольным рабством, которое он примет.

Его письмо понравилось. Он решил писать. Он писал. Почти каждую ночь, возвратясь домой в тот час, когда ум, возбужденный дневными волнениями, превращает в своего рода галлюцинации все, что его занимает или волнует, он садился за стол, у лампы, и предавался восторгам, думая о ней. Зачатки поэзии, которым столько вялых людей по лености дают заглухнуть в своей душе, росли от этого увлечения. Он говорил все об одних и тех же вещах, все об одном и том же – о своей любви – в формах, которые обновлялись потому, что ежедневно обновлялось его желание, и распялял свою страсть, трудясь над ее литературным выражением. Целыми днями он подыскивал и находил неотразимо убедительные слова, которые чрезмерное возбуждение высекает из ума подобно искрам. Этим он сам раздувал пламя своего сердца и превращал его в пожар, потому что подлинно страстные любовные письма часто опаснее для тех, кто пишет, чем для тех, кто их получает.

Он так долго поддерживал в себе это возбужденное состояние, так распялял кровь словами и так насыщал душу одной-единственной мыслью, что постепенно утратил реальное представление об этой женщине. Перестав воспринимать ее такую, какой она представлялась ему вначале, он видел ее теперь лишь сквозь лиризм своих фраз; и все, что бы ни писал он ей каждую ночь, становилось для него истиной. Эта ежедневная идеализация делала ее приблизительно такую, какой ему хотелось бы ее видеть. К тому же прежняя его предубежденность исчезла благодаря явному расположению, которое выказывала к нему г-жа де Бюрн. В настоящее время, хоть они ни в чем и не признались друг другу, она, несомненно, предпочитала его всем другим и открыто давала ему это понять. Поэтому он с какою-то безрассудной надеждой думал, что, быть может, она в конце концов и полюбит его.

И действительно, она с простодушной и неодолимой радостью поддавалась обаянию этих писем. Никогда никто не боготворил и не любил ее так, с такой молчаливой страстью. Никогда никому не приходила в голову очаровательная мысль посылать ей ежедневно к пробуждению этот завтрак любовных чувств в бумажном конверте, который горничная по утрам подавала ей на серебряном подносе. А самым ценным было то, что он никогда не говорил об этом, что он, казалось, сам этого не знал и в ее гостиной всегда был самым скромным из ее друзей, что он ни единым словом не намекал на этот поток нежностей, который втайне изливал на нее.

Конечно, она и раньше получала любовные письма, но в другом тоне, менее сдержанные, скорее похожие на требования. В продолжение целых трех месяцев – трех месяцев своего «кризиса» – Ламарт посвящал ей изящные письма, письма сильно увлеченного романиста, облакающего свои изысканные чувства в литературную форму. Она хранила в секретере, в особом ящике, эти тонкие и обворожительные послания к женщине, написанные искренне взволнованным стилистом, который баловал ее письмами до тех пор, пока не утратил надежду на успех.

Письма же Мариоля были совсем другие; они отличались такой силой и сосредоточенностью желания, такой непогрешимой искренностью выражений, таким полным подчинением, такой преданностью, сулящей быть долговечной, что она их получала, распечатывала и наслаждалась ими с радостью, какой не доставлял ей ни один другой почерк.

Это усиливало расположение, которое она чувствовала к нему, и она тем охотнее приглашала его к себе, что он держался безупречно скромно и, беседуя с нею, сам, казалось, не знал, что когда-либо писал ей о своей любви. К тому же случай казался ей незаурядным, достойным послужить сюжетом для романа, и она находила в глубоком удовлетворении от близости этого человека, так любившего ее, какое-то властное начало симпатии, заставлявшее ее подходить к нему с особой меркой.

До сих пор, несмотря на тщеславие кокетства, она чувствовала во всех плененных ею сердцах посторонние заботы; она царила в них не одна: она обнаруживала, видела в них властные интересы, не связанные с нею. Ревнуя Масиваля к музыке, Ламарта к литературе, а других еще к чему-нибудь, она была недовольна таким полууспехом, но бессильна изгнать все чуждое из сердец этих тщеславных мужчин, знаменитостей или людей искусства: ведь их профессия для них – любовница, с которой никто и ничто не может их разлучить. И вот она впервые встретила человека, для которого она была всем! По крайней мере, он клялся ей в этом. Один только толстяк Френель любил ее, вероятно, не меньше. Но то был толстяк Френель. Она чувствовала, что еще никогда никто не был настолько одержим ею; и ее эгоистическая признательность тому, кто доставил ей этот триумф, принимала видимость нежности. Теперь он был ей нужен, нужно было его присутствие, его взгляд, его покорность, нужна была эта прирученная любовь. Он менее других льстил ее тщеславию, зато больше льстил тем властным требованиям, которые управляют душою и телом кокеток: ее гордости и инстинкту господства, хищному инстинкту бесстрастной самки.

Подобно тому, как покоряют страны, она завладела его жизнью постепенно, последовательными мелкими набегами, учащавшимися со дня на день. Она устраивала приемы, выезды в театр, обеды в ресторанах, чтобы он участвовал в них; она влекла его за собою с жестокой радостью завоевательницы, не могла уже обходиться без него, или, вернее, без раба, в которого она его превратила.

Он следовал за нею, счастливый сознанием, что его балуют, ласкают ее глаза, ее голос, все ее причуды; и теперь он жил в постоянном неистовстве желания и любви, которое сводило с ума и сжигало, как лихорадка.

Часть вторая

I

Мариоль приехал к ней. Ему пришлось дожидаться, потому что ее еще не было дома, хотя она утром назначила ему свидание городской депешей.

В этой гостиной, где он так любил бывать, где все ему нравилось, он все-таки, очутившись один, всякий раз чувствовал стеснение в груди, слегка задыхался, нервничал и не мог спокойно сидеть на месте до тех пор, пока она не появлялась. Он ходил по комнате в блаженном ожидании, опасаясь, как бы не задержало ее какое-нибудь непредвиденное препятствие и не заставило отложить их встречу до завтра.

Услышав, что у подъезда остановился экипаж, он вострепнулся от надежды, а когда в передней раздался звонок, он больше уже не сомневался, что это она.

Она, против обыкновения, вошла в шляпе, с возбужденным и радостным видом.

– У меня для вас новость, – сказала она.

– Да что вы, сударыня!

Она засмеялась, глядя на него.

– Да. Я на некоторое время уезжаю в деревню.

Его охватила внезапная глубокая печаль, отразившаяся на его лице.

– И вы сообщаете мне это с таким веселым видом?

– Вот именно. Садитесь, сейчас все расскажу. Не знаю, известно вам или нет, что у брата моей покойной матери, г-на Вальсази, главного дорожного инженера, есть имение около Авранша, где он служит и где с женой и детьми проводит часть года. А мы каждое лето навещаем их. В этом году я не хотела ехать, но он обиделся и устроил папе сцену. Кстати, скажу вам по секрету: папа ревнует меня к вам и тоже устраивает мне сцены, считая, что я себя компрометирую. Вам придется приезжать пореже. Но вы не огорчайтесь, я все улажу. Итак, папа меня разбил и взял с меня обещание, что я дней на десять-двенадцать съезжу в Авранш. Мы уезжаем во вторник утром. Что вы на это скажете?

– Скажу, что вы приводите меня в отчаяние.

– И это все?

– А что же вы хотите? Ведь не могу же я вам воспрепятствовать.

– И не находите никакого выхода?

– Да нет... нет... не нахожу. А вы?

– У меня есть идея, а именно: Авранш совсем близко от горы Сен-Мишель. Вы бывали на Сен-Мишеле?

– Нет, сударыня.

– Так вот: в будущую пятницу вам взбредет в голову осмотреть эту достопримечательность. Вы остановитесь в Авранше, а, скажем, в субботу вечером, на закате, пойдете гулять в городской сад, который возвышается над бухтой. Мы случайно там встретимся. Папа разозлится, ну и пусть! На другой день я устрою поездку всей семьей в аббатство. Воодушевитесь и будьте очаровательны, как умеете быть, когда захотите. Очаруйте мою тетушку и пригласите нас всех пообедать в таверне, где мы остановимся. Там мы переночуем и, таким образом, расстанемся только на другой день. Вы вернетесь через Сен-Мало, а неделю спустя я буду уже снова в Париже. Хорошо придумано? Не душка ли я?

В порыве признательности он пролепетал:

– Вы – единственное, чем я дорожу на свете.

– Тш! – прошептала она.

И несколько мгновений они смотрели друг на друга. Она улыбалась, выражая этой улыбкой всю свою благодарность, признательность своего сердца, а также и расположение, очень искреннее, очень горячее, почти нежное. А он любовался ею, пожирал ее глазами. Ему хотелось упасть перед нею, броситься к ее ногам, целовать ее платье, кричать, а главное – выразить то, чего он не умел выразить, что захватило его всего, и душу его, и тело, то, что было несказанно мучительным, потому что он не мог этого проявить, – свою любовь, свою страшную и упоительную любовь.

Но она понимала его и без слов, подобно тому как стрелок угадывает, что его пуля пробила самую сердцевину мишени. В человеке этом не осталось ничего, кроме нее. Он принадлежал ей больше, чем она себе самой. И она была довольна, она находила его очаровательным.

Она ласково спросила:

– Итак, решено? Мы устроим эту прогулку?

Он ответил прерывающимся от волнения голосом:

– Конечно, сударыня, решено.

Потом, опять помолчав, она сказала, не считая нужным извиняться:

– Сегодня я не могу вас больше удерживать. Я вернулась домой только для того, чтобы сказать вам это, я ведь уезжаю послезавтра. Весь завтрашний день у меня занят, а до обеда мне надо еще побывать в четырех-пяти местах.

Он тотчас же встал, охваченный печалью: ведь единственным его желанием было не разлучаться с нею. И, поцеловав у нее руки, он ушел с немного сокрушенным сердцем, но полный надежды.

Четыре дня, которые ему пришлось провести в ожидании, показались ему очень долгими. Он провел их в Париже, ни с кем не видясь, предпочитая тишину – шуму голосов и одиночество – друзьям. А в пятницу утром он выехал с восьмичасовым экспрессом. В эту ночь он почти не спал, возбужденный ожиданием путешествия. Его темная, тихая комната, куда доносился только грохот запоздалых экипажей, как бы звавших его в дорогу, угнетала его всю ночь, как темница.

Едва сквозь спущенные шторы забрезжил серый и печальный свет занявшегося утра, он вскочил с постели, распахнул окно и посмотрел на небо. Он боялся, что будет плохая погода. Погода была хорошая. Реял легкий туман, предвестник зноя. Он оделся скорее обычного, был готов за два часа до отъезда, его сердце снесло нетерпение уехать из дому, быть уже в дороге; и, едва одевшись, он послал за извозчиком, так как боялся, что позже не найдет его.

При первых толчках экипажа он ощутил радостную дрожь, но на Монпарнасском вокзале снова разволновался, узнав, что до отхода поезда осталось еще целых пятьдесят минут.

Одно купе оказалось свободным; он купил его целиком, чтобы уединиться и вволю помечтать. Когда он почувствовал, что едет, что устремляется к ней, влекомый плавным и быстрым движением экспресса, его возбуждение не только не улеглось, но еще более возросло, и у него явилось желание, глупое, ребяческое желание – обеими руками подталкивать обитую штофом стенку, чтобы ускорить движение.

Долгое время, до самого полудня, он был подавлен надеждой и скован ожиданием, но постепенно, после того как миновали Аржантон, пышная нормандская природа привлекла его взоры к окнам.

Поезд мчался по обширной волнистой местности, пересеченной оврагами, где крестьянские фермы, выгоны и фруктовые сады были обсажены высокими деревьями, развесистые вершины которых сверкали в лучах солнца. Кончался июль, наступила пора изобилия, когда нормандская земля, могучая кормилица, предстает во всем своем цветении, полная жизненных соков. На всех этих участках, разделенных и связанных высокими листовыми стенами, всюду на этих свежих лугах, почва которых казалась плотью и как бы сочилась сидром, без конца мелькали тучные серые волы, пегие коровы с причудливыми узорами на боках, рыжие

широколобые быки с отвислой мохнатой кожей на шее; они стояли с вызывающим и гордым видом возле изгороди или лежали, отъевшись на тучных пастбищах.

Тут и там, у подножия тополей, под легкой сенью ив, струились узенькие речки; ручьи, сверкнув на мгновение в траве и исчезнув, чтобы подалеже снова появиться, наполняли эту местность благодатной свежестью.

И восхищенный Мариоль пронес свою любовь сквозь это отвлекающее, быстрое и непрерывное мелькание прекрасного яблоневого сада, в котором паслись стада.

Но когда он на станции Фолиньи пересел в другой поезд, нетерпение вновь овладело им, и в последние сорок минут он раз двадцать вынимал из кармана часы. Он беспрестанно высматривал из окна и наконец увидел на высоком холме город, где Она ждала его. Поезд опаздывал, и всего лишь час отделял его от той минуты, когда ему предстояло случайно встретить ее в городском саду.

Он оказался единственным пассажиром в омнибусе, высланном гостиницей; карета поднималась по крутой дороге Авранша, которому расположенные на вершине дома придавали издали вид крепости. Вблизи это оказался красивый древний нормандский городок с небольшими однообразными домами, сбившимися в кучу, похожими друг на друга, с печатью старинной гордости и скромного достоинства, придававших им средневековый и сельский вид.



Оставив чемодан в комнате, Мариоль тотчас же спросил, как пройти в Ботанический сад, и хотя времени у него было еще много, торопливо направился туда, в надежде, что, быть может, и она придет раньше назначенного часа.

Подойдя к воротам, он сразу увидел, что сад пуст или почти пуст. В нем прогуливались только три старика, три местных обывателя, по-видимому, проводившие здесь ежедневно свои последние досуги, да резвилось несколько маленьких англичан, тонконогих девочек и мальчиков, в сопровождении белокурой гувернантки, сидевшей с рассеянным и мечтательным видом.

Мариоль шагал с бьющимся сердцем, всматриваясь в даль. Он достиг аллеи высоких ярко-зеленых вязов, которая наискось пересекала сад, образуя над дорожкой густой листвен-

ный свод; он миновал аллею и, подходя к террасе, возвышавшейся над горизонтом, внезапно отвлекся мыслью от той, ради кого явился сюда.

У подножия возвышенности, на которой он стоял, простиралась необозримая песчаная равнина, сливавшаяся вдаль с морем и небом. Речка катила по ней свои воды, а многочисленные лужи выделялись сверкающими пятнами и казались зияющими безднами второго, внутреннего неба.

Среди этой желтой пустыни, еще пропитанной спадавшим приливом, километрах в двенадцати-пятнадцати от берега, вырисовывались величественные очертания остроконечной горы – причудливой пирамиды, увенчанной собором.

Единственным его соседом в необъятных дюнах был обнаженный круглый утес, утвердившийся среди зыбкого ила: Томблен.

Дальше из голубоватых волн выступали коричневые хребты других скал, погруженных в воду, а справа, пробегая по горизонту, взор обнаруживал за этой песчаной пустыней обширные пространства зеленой нормандской земли, так густо поросшей деревьями, что она казалась бескрайным лесом. Здесь вся природа являлась сразу в одном месте, во всем своем величии, в своей мощи, свежести и красоте; и взгляд переходил от леса к гранитному утесу, одинокому обитателю песков, вздымавшему над необъятным взморьем свои причудливые готические очертания.

Странное наслаждение, уже не раз в былые времена испытанное Мариолем, – трепет при виде неожиданных красот, когда они открываются взорам путника в незнакомых местах, – теперь так сильно захватило его, что он замер на месте, взволнованный и растроганный, забыв о своем плененном сердце.

Но послышался удар колокола, и Мариоль обернулся, вновь охваченный страстным ожиданием встречи. Сад был по-прежнему почти пуст. Маленькие англичане исчезли. Только три старика продолжали свою унылую прогулку. Он последовал их примеру.

Она должна появиться сейчас, с минуты на минуту. Он увидит ее в конце дорожки, ведущей к этой чудесной террасе. Он узнает ее фигуру, ее походку, потом лицо и улыбку и услышит ее голос. Какое счастье! Какое счастье! Он ощущал ее где-то здесь, близко, неуловимую, еще невидимую, но она думает о нем и знает, что сейчас увидит его.

Он чуть не вскрикнул. Синий зонтик, всего лишь купол зонтика, мелькнул в отдалении над кустарником. Это, несомненно, она! Показался мальчик, кативший перед собою обруч; затем две дамы – в одной из них он узнал ее; потом – двое мужчин: ее отец и какой-то другой господин. Она была вся в голубом, как весеннее небо. О, да! Он узнал ее, еще не различая лица; но он не осмелился пойти ей навстречу, чувствуя, что станет бессвязно лепетать, будет краснеть, не сможет под подозрительным взглядом г-на де Прадона объяснить эту случайность.

Однако он шел им навстречу, поминутно смотря в бинокль, весь поглощенный, казалось, созерцанием горизонта. Окликнула его она и даже не потрудилась изобразить удивление.

– Здравствуйте, господин Мариоль! – сказала она. – Восхитительно, не правда ли?

Ошеломленный такою встречей, он не знал, в каком тоне отвечать, и пробормотал:

– Ах, вы здесь, сударыня? Какое счастье! Мне захотелось побывать в этой чудесной местности.

Она ответила, улыбаясь:

– И вы выбрали время, когда я здесь? Как это мило с вашей стороны!

Потом она его представила:

– Это один из лучших моих друзей, господин Мариоль. Моя тетушка, госпожа Вальсази. Мой дядя, который строит мосты.

После взаимных поклонов г-н де Прадон и молодой человек холодно пожали друг другу руки, и прогулка возобновилась.

Она поместила его между собою и тетей, бросив на него молниеносный взгляд, один из тех взглядов, которые свидетельствуют о глубоком волнении. Она продолжала:

– Как вам нравится здесь?

– Мне кажется, я никогда не видел ничего прекраснее.

На это она ответила:

– А если бы вы провели здесь, как я, несколько дней, вы почувствовали бы, до чего захватывает эта красота. Этого не передать никакими словами. Приливы и отливы моря на песчаной равнине, великое, непрерывное движение воды, которая омывает все это два раза в день, и притом наступает так быстро, что лошадь галопом не успела бы убежать от нее, необыкновенное зрелище, которое щедрое небо устраивает для нас, – клянусь, все это приводит меня в неистовство! Я сама не своя. Не правда ли, тетя?

Г-жа де Вальсази, уже пожилая, седая женщина, почтенная провинциалка, уважаемая супруга главного инженера, высокомерного чиновника, спесивого, как большинство воспитанников Политехнической школы⁵, подтвердила, что никогда еще не видела своей племянницы в таком восторженном состоянии. Подумав немного, она добавила:

– Впрочем, это и не удивительно: ведь она ничего не видела и ничем не восхищалась, кроме театральных декораций.

– Но я почти каждый год бываю в Дьеппе или Трувиле.

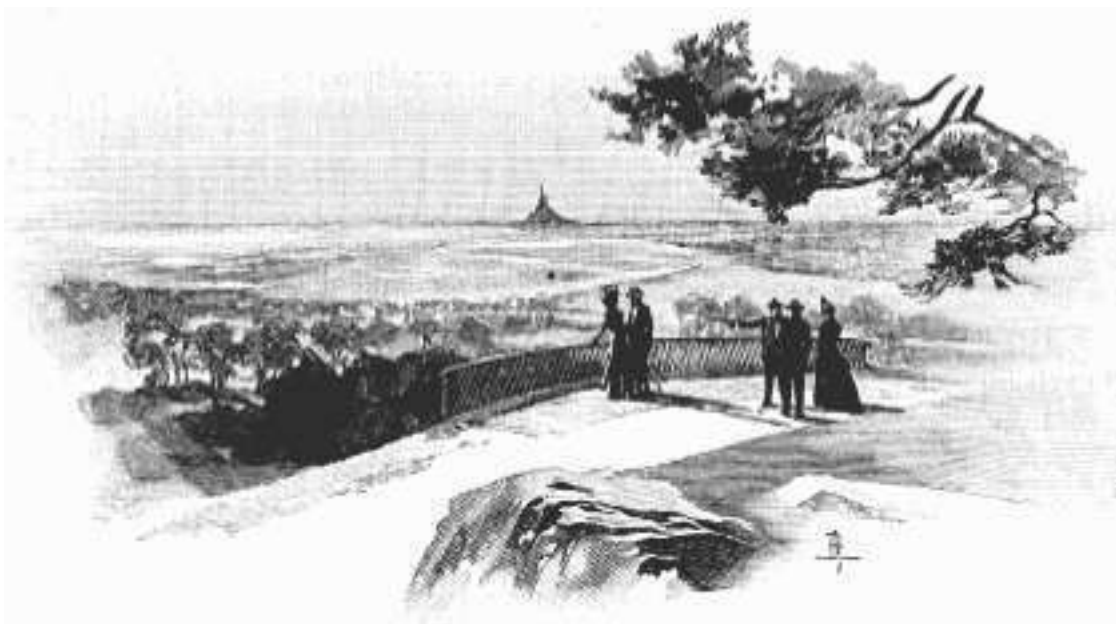
Старая дама засмеялась:

– В Дьепп или Трувиль ездят только ради встреч с поклонниками. Море там лишь для того и существует, чтобы в нем купались влюбленные.

Это было сказано совсем просто, вероятно, без задней мысли.

Теперь они возвращались к террасе, которая непреодолимо влекла к себе всех. К ней невольно устремлялись со всех концов сада, подобно тому как шары катятся по наклонной плоскости. Заходившее солнце расстилало тонкий золотой полог за высоким силуэтом аббатства, которое все больше и больше темнело, напоминая огромную раку на фоне ослепительного занавеса. Но теперь Мариоль смотрел лишь на обожаемое белокурое создание, шедшее рядом с ним и овеянное голубым облаком. Никогда еще не видел он ее такой восхитительной. Она казалась ему в чем-то изменившейся; от нее веяло какой-то свежестью, которая разлилась во всем ее теле, в глазах, в волосах и проникла в ее душу, свежестью, присущей всей этой местности, этим небесам, свету, зелени. Такою он ее еще никогда не видел и никогда не любил.

⁵ Политехническая школа – высшее учебное заведение в Париже.



Он шел рядом с нею, не находя, что сказать; прикосновение ее платья, касание локтя, а иногда и руки, встреча их взглядов, столь красноречивых, окончательно превращали его в ничто, сводили на нет его личность. Он чувствовал себя подавленным в присутствии этой женщины, поглощенным ею до такой степени, что уже перестал быть самим собою, а обратился в одно только желание, в один призыв, в одну любовь. Она уничтожила всю его прежнюю сущность, как пламя сжигает письмо.

Она отлично заметила, она поняла свое полное торжество и, трепещущая, растроганная и к тому же оживленная морским и деревенским воздухом, полным солнечных лучей и жизненных соков, сказала, не глядя на него:

– Как я рада видеть вас!

И тотчас же добавила:

– Сколько времени вы пробудете здесь?

Он ответил:

– Два дня, если сегодняшний день может идти в счет.

Потом он, обернувшись к тетке, спросил:

– Не согласится ли госпожа Вальсази с супругом оказать мне честь и провести завтрашний день вместе на горе Сен-Мишель?

Г-жа де Бюрн ответила за родственницу:

– Я не позволю тете отказаться, раз уж нам посчастливилось встретить вас здесь.

Жена инженера добавила:

– Охотно соглашусь, сударь, но при условии, что сегодня вечером вы у меня отобедаете.

Он поклонился, принимая приглашение.

Тогда в нем вспыхнула неистовая радость, радость, которая охватывает нас при получении самой желанной вести. Чего он добился? Что нового случилось в его жизни? Ничего. И все же его окрылял упоительный восторг, вызванный каким-то смутным предчувствием.

Они долго гуляли по этой террасе, дожидаясь, пока зайдет солнце, чтобы как можно дольше любоваться черною узорчатой тенью горы, выступавшей на огненном горизонте.

Теперь они вели разговор об обыденных вещах, ограничиваясь тем, что можно сказать в присутствии посторонних, и изредка взглядывали друг на друга.

Они вернулись на виллу, которая была расположена на окраине Авранша, среди прекрасного сада, возвышавшегося над бухтой.

Из скромности, к тому же немного смущенный холодным, почти враждебным отношением г-на Прадона, Мариоль ушел рано. Когда он подносил к губам руку г-жи де Бюрн, она сказала ему два раза подряд, с каким-то особым выражением: «До завтра, до завтра».

Как только он удалился, супруги Вальсази, давно уже усвоившие провинциальные привычки, предложили ложиться спать.

– Ложитесь, – сказала г-жа де Бюрн, – а я пройду по саду.

Отец ее добавил:

– И я тоже.

Она вышла, накинув шаль, и они пошли рядом по белым песчаным аллеям, освещенным полной луной и похожим на извилистые речки, бегущие среди клумб и деревьев.

После довольно долгого молчания г-н де Прадон сказал тихо, почти шепотом:

– Дитя мое, будь справедлива и согласишься, что я никогда не докучал тебе советами.

Она поняла, куда он клонит, и, готовая к этому нападению, ответила:

– Простите, папа, по крайней мере один совет вы мне дали.

– Я?

– Да, вы.

– Совет относительно твоего... образа жизни?

– Да, и даже очень дурной. Поэтому я твердо решила: если вы мне еще будете давать советы – им не следовать.

– Что я тебе посоветовал?

– Выйти замуж за господина де Бюрна. Это доказывает, что вы лишены рассудительности, проницательности, не знаете людей вообще и вашей дочери в частности.

Он помолчал несколько секунд от удивления и замешательства, потом медленно заговорил:

– Да, тогда я ошибся. Но я уверен, что не ошибусь, высказав тебе сегодня свое отеческое мнение.

– Что ж, говорите! Я воспользуюсь им, если пригодится.

– Еще немного, и ты себя скомпрометируешь.

Она рассмеялась, рассмеялась слишком резким смехом и досказала за него:

– Разумеется, с господином Мариолем?

– С господином Мариолем.

– Вы забываете, что я уже скомпрометировала себя с Жоржем де Мальтри, с Масивалем, с Гастоном де Ламартом, с десятком других, к которым вы меня ревновали; стоит мне назвать человека милым и преданным, как весь мой кружок приходит в ярость, и вы первый, вы, которого небо даровало мне в качестве благородного отца и главного руководителя.

Он горячо возразил:

– Нет, нет, до сих пор ты ни с кем себя не скомпрометировала. Наоборот, ты проявляешь в отношениях со своими друзьями много такта.

Она ответила заносчиво:

– Дорогой папа, я уже не девочка и обещаю вам, что скомпрометирую себя с господином Мариолем не больше, чем с кем-либо другим, не беспокойтесь. Однако признаюсь вам, что это я просила его приехать сюда. Я нахожу его очаровательным, таким же умным, как все те, но меньшим эгоистом. Таково было и ваше мнение до того, как вы обнаружили, что я немного предпочитаю его остальным. Ох, не так-то уж вы хитры! Я тоже вас хорошо знаю и многое могла бы вам сказать, если бы захотела. Итак, господин Мариоль мне нравится, и поэтому я решила, что было бы очень приятно совершить с ним невзначай небольшую прогулку, что глупо лишать себя удовольствия, если это не грозит никакой опасностью. А мне не грозит опасность скомпрометировать себя, раз вы здесь.

Теперь она смеялась от души, зная, что каждое ее слово попадает в цель, что она держит его в руках благодаря этому намеку на его подозрительность и ревность, которые она давно почуяла в нем, и она забавлялась этим открытием с затаенным, злорадным и дерзким кокетством.



Он замолчал, пристыженный, недовольный, рассерженный, сознавая, что она угадала под его отеческой заботой скрытую враждебность, в причине которой он не хотел признаться даже самому себе. Она добавила:

– Не беспокойтесь. Вполне естественно в это время года совершить поездку на гору Сен-Мишель с дядей, тетей, с вами, моим отцом, и со знакомым. К тому же об этом никто не узнает. А если и узнает, тут нечего осуждать. Когда мы вернемся в Париж, этот знакомый займет свое обычное место среди остальных.

– Пусть так, – заключил он. – Будем считать, что я ничего не говорил.

Они прошли еще несколько шагов. Г-н де Прадон спросил:

– Не пора ли домой? Я устал, хочу лечь.

– Нет, я еще немного погуляю. Ночь так хороша!

Он многозначительно сказал:

– Далеко не уходи. Мало ли кто может встретиться.

– О, я буду тут, под окнами.

– Спокойной ночи, дитя мое.

Он быстро поцеловал ее в лоб и вошел в дом.

Она села немного поодаль на простую скамью, врытую в землю у подножия дуба. Ночь была теплая, напоенная ароматами полей, дыханием моря и светлой мглой; полная луна, поднявшись на самую середину неба, лила свет на залив, окутанный туманом. Он полз, как клубы белого дыма, заволакивая дюны, которые в этот час должен был затопить прилив.

Мишель де Бюрн, скрестив на коленях руки, устремив взор вдаль, старалась проникнуть в собственную душу сквозь непроницаемую дымку, подобную той, что застилала пески.

Сколько уже раз, сидя в туалетной перед зеркалом в своей парижской квартире, она спрашивала себя: что я люблю? чего желаю? на что надеюсь? чего хочу? что я такое?

Помимо восхищения самой собою и глубокой потребности нравиться, которые доставляли ей действительно много наслаждения, она никогда не испытывала никаких чувств, если не считать быстро потухавшего любопытства. Она, впрочем, сознавала это, потому что так привыкла разглядывать и изучать свое лицо, что не могла не наблюдать также и за душой. До сих пор она мирилась с этим отсутствием интереса ко всему тому, что других людей волнует, ее же может, в лучшем случае, немного развлечь, но отнюдь не захватить.

И все же всякий раз, когда она чувствовала, что в ней зарождается более острый интерес к кому-то, всякий раз, когда соперница, отвоевывая у нее поклонника, которым она дорожила, тем самым разжигала ее женские инстинкты и возбуждала в ее крови горячку влечения, она испытывала при этом мнимом зарождении любви гораздо более жгучее ощущение, нежели простую радость успеха. Но всегда это длилось недолго. Отчего? Она уставала, пресыщалась, была, быть может, излишне проницательной. Все, что сначала нравилось ей в мужчине, все, что ее увлекало, трогало, волновало, очаровывало в нем, вскоре начинало казаться ей уже знакомым, пошлым, обыденным. Все они слишком походили друг на друга, хоть и не были одинаковыми; и еще ни в одном из них она не находила тех свойств и качеств, которые нужны были, чтобы долго ее волновать и увлекать ее сердце навстречу любви.

Почему так? Была ли то их вина или ее? Недоставало ли им того, чего она ожидала, или ей доставало того, что повелевает любить? Потому ли любишь, что встретил наконец человека, который представляется тебе созданным для тебя, или просто потому, что ты рожден со способностью любить? Временами ей казалось, что у всех сердце наделено, как тело, руками – ласковыми и манящими, которые привлекают, льнут и обнимают; а ее сердце – безрукое. У него одни только глаза.

Часто случается, что мужчины – и мужчины незаурядные – безумно влюбляются в женщин, недостойных их, лишенных ума, обаяния, порой даже красоты. Почему? Как? Что за тайна? Значит, этот человеческий недуг вызывается не только роковым предопределением, но также и каким-то зерном, которое мы носим в себе и которое внезапно прорастает? Она выслушивала признания, она разгадывала секреты, она даже собственными глазами наблюдала внезапное преобразование, вызванное в душе этим дурманом, и много размышляла об этом.

В свете, в повседневной суете визитов, сплетен, всех мелких глупостей, которыми забавляются, которыми заполняют досуг богачи, она иногда с завистливым, ревнивым и почти что недоверчивым удивлением обнаруживала людей – и женщин и мужчин, – с которыми явно происходило что-то необычайное. Это проявлялось не ярко, не бросалось в глаза, но она угадывала и понимала это своим врожденным чутьем. На их лицах, в их улыбках, и особенно в глазах, появлялось нечто невыразимое, восторженное, восхитительно счастливое – душевная радость, разлившаяся по всему телу, озарившая и плоть и взгляд.

Сама не зная почему, она относилась к ним враждебно. Влюбленные всегда раздражали ее, и она принимала за презрение ту глухую и глубокую неприязнь, которую вызывали в ней люди, пылающие страстью. Ей казалось, что она распознает их благодаря своей необычайно острой и безошибочной проницательности. И действительно, нередко ей удавалось почуять и разгадать любовную связь прежде, чем о ней начинали подозревать в свете.

Когда она думала о том сладостном безумии, в которое повергает нас чье-то существование, чей-то образ, звук голоса, мысль, те неуловимые черты в близком человеке, которые неистово волнуют наше сердце, – она сознавала, что не способна на это. А между тем сколько раз, устав от всего и мечтая о неизъяснимых уладах, истерзанная неотступной жаждой перемен и чего-то неведомого, которая была, возможно, лишь смутным волнением, неосознанным

стремлением любить, – она с тайным стыдом, порожденным гордыней, желала встретить человека, который ввергнул бы ее – пусть ненадолго, на несколько месяцев – в эту волшебную восторженность, охватывающую все помыслы, все тело, ибо в эти дни волнений жизнь, вероятно, приобретает причудливую прелесть экстаза и опьянения.

Она не только желала этой встречи, но даже сама чуть-чуть подготовила ее, совсем чуть-чуть, проявив немного своей ленивой энергии, которую ничто не занимало надолго.

Все ее мимолетные увлечения признанными знаменитостями, ослеплявшими ее на несколько дней, кончались тем, что кратковременная вспышка ее сердца неизменно угасала в непоправимом разочаровании. Она слишком много ждала от этих людей, от их характера, их природы, их чуткости, их дарований. При общении с каждым из них ей всегда приходилось убеждаться, что недостатки выдающихся людей часто ощущаются резче, чем их достоинства, что талант – некий дар, вроде острого зрения или здорового желудка, дар особый, самодовлеющий, не зависящий от прочих приятных качеств, придающих отношениям задушевность и привлекательность.

Но к Мариолу ее с первой встречи привязывало что-то иное. Однако любила ли она его? Любила ли настоящей любовью? Не будучи ни знаменитым, ни известным, он покорила ее своим чувством, нежностью, умом – всеми своими подлинными и простыми достоинствами. Он покорила ее, ибо она думала о нем беспрестанно; беспрестанно желала, чтобы он был возле нее; ни одно существо в мире не было ей так приятно, так мило, так необходимо. Это-то и есть любовь?

Она не чувствовала в душе того пламени, о котором столько говорят, но она впервые испытывала искреннее желание быть для этого человека чем-то большим, чем обворожительной подругой. Любила ли она его? Нужно ли для любви, чтобы человек казался преисполнен привлекательных качеств, выделялся среди окружающих и стоял выше всех, в ореоле, который сердце обычно возжигает вокруг своих избранников, или же достаточно, чтобы человек очень нравился, нравился настолько, что без него почти уже нельзя обойтись?

Если так, то она любила его или, по крайней мере, была к этому очень близка. Глубоко, с пристальным вниманием поразмыслив, она в конце концов ответила себе: «Да, я люблю его, но мне недостает сердечного порыва: такую уж я создана».

Между тем сегодня она слегка почувствовала в себе этот порыв, когда увидела его идущим ей навстречу на террасе парка в Авранше. Впервые в ней проснулось то невыразимое, что толкает, влечет, бросает нас к кому-нибудь; ей доставляло большое удовольствие идти рядом с ним, чувствовать его возле себя сгорающим от любви и смотреть, как солнце садится за тенью Сен-Мишеля, напоминающей сказочное видение. Разве сама любовь – не сказка для душ, в которую одни инстинктивно верят, о которой другие мечтают так долго, что иной раз тоже начинают верить в нее? Не поверит ли в конце концов и она? Она почувствовала странное и сладостное желание склонить голову на плечо этого человека, стать ему более близкой, искать той «полной близости», которой никогда не достигаешь, подарить ему то, что тщетно предлагать, потому что все равно всегда сохраняешь это при себе: свою сокровенную сущность.

Да, она ощутила влечение к нему и в глубине сердца ощущает его и сейчас. Быть может, стоило только поддаться этому порыву, чтобы он превратился в страсть? Она всегда слишком сопротивлялась, слишком рассуждала, слишком боролась с обаянием людей. Разве не было бы упоительно в такой вечер, как сегодня, гулять с ним под ивами на берегу реки и в награду за его любовь время от времени дарить ему для поцелуя свои губы?

Одно из окон виллы распахнулось. Она обернулась. Это был ее отец, несомненно, искавший ее.

Она крикнула ему:

– Вы еще не спите?

Он ответил:

– Ты простудишься.

Она встала и направилась к дому. Вернувшись к себе, она раздвинула шторы, чтобы еще раз взглянуть на туман над бухтой, становившийся все белее от лунного света, и ей показалось, что и туман в ее сердце светлеет от восходящей любви.



Однако спала она крепко, и горничной пришлось разбудить ее, так как они собирались выехать рано, чтобы завтракать на горе.

Им подали большое ландо. Услышав шум колес по песку у подъезда, она выглянула в окно и тотчас же встретила взгляд Андре Мариоля, устремленный на нее. Ее сердце слегка забилося. Она с удивлением и испугом ощутила непривычное и странное движение того мускула, который трепещет и быстрее гонит кровь только оттого, что мы увидели кого-то. Как и накануне ночью, она спросила себя: «Неужели я влюблена?»

Потом, увидев его перед собою, она поняла, что он так увлечен, так болен любовью, что ей в самом деле захотелось открыть объятия и дать ему поцеловать себя.

Они лишь обменялись взглядом, а он был и этим так счастлив, что побледнел.

Лошади тронули. Стояло ясное утро, сиявшее всюду разлившейся юностью; щебетали птицы. Экипаж стал спускаться по склону, миновал реку и проехал несколько деревень по каменистой дороге, такой неровной, что ездовых подбрасывало на скамьях. После длительного молчания г-жа де Бюрн стала подшучивать над дядей по поводу плохого состояния дорог; этого оказалось достаточно, чтобы сломить лед, и реявшее в воздухе веселье передалось всем.

Вдруг, при выезде из одной деревушки, вновь показалась бухта, но уже не желтая, как накануне вечером, а сверкающая от прозрачной воды, которую было покрыто все: дюны, прибрежные луга и, по словам кучера, даже часть дороги немного подальше.

Затем целый час ехали шагом, выжидая, когда этот поток схлынет обратно в море.

Кайма дубов и вязов вокруг ферм, мимо которых они проезжали, то и дело скрывала от глаз очертания монастыря, возвышавшегося на горе, которую в этот час со всех сторон окружало море. Потом он снова мелькал между фермами, все ближе и ближе, все более и более поражая взор. Солнце окрашивало в рыжеватые тона узорчатый гранитный храм, утвердившийся на вершине скалы.

Мишель де Бюрн и Андре Мариоль любовались им, потом обращали друг на друга взоры, в которых сочетались – у нее едва зарождающееся, а у него уже буйное – смятение сердца с поэтичностью этого видения, представшего им в розовой дымке июльского утра.

Беседовали с дружеской непринужденностью. Г-жа Вальсази рассказывала трагические истории, ночные драмы в зыбучих песках, засасывающих людей. Г-н Вальсази защищал плотину от нападков художников и расхваливал ее преимущества, подчеркивая, что она дает возможность в любое время сообщаться с горою и постепенно отвоевывает у моря дюны – сначала для пастбищ, а потом и для нив.

Вдруг экипаж остановился. Дорога оказалась затопленной. С виду это был пустык: тонкий водный покров на каменистом грунте, но чувствовалось, что местами образовались рытвины и ямы, из которых не выбраться. Пришлось ждать.

– Вода быстро схлынет, – утверждал г-н Вальсази, указывая на дорогу, с которой тонкий слой воды сбегал, словно его выпивала земля или тянула куда-то таинственная и могучая сила.

Они вышли из экипажа, чтобы посмотреть поближе на это странное, стремительное и бесшумное отступление моря, следуя за ним шаг за шагом. На затопленных лугах, кое-где холмистых, уже проступили зеленые пятна, которые все росли, округлялись, превращались в острова. Эти острова постепенно принимали очертания материков, разделенных крошечными океанами, и наконец на всем протяжении залива стало заметно беспорядочное бегство моря, отступавшего вдаль. Казалось, что с земли сдергивают длинный серебристый покров – огромный, сплошь искромсанный, рванный покров, и, сползая, он обнажал обширные пастбища с низкой травой, но все еще застилал лежащие за пастбищами светлые пески.

Все опять вошли в экипаж и стояли в нем, чтобы лучше видеть. Дорога впереди уже просыхала, и лошади тронули, но все еще шагом, а так как на ухабах путники теряли равновесие, Андре Мариоль вдруг почувствовал, что к его плечу прильнуло плечо г-жи де Бюрн. Сперва он подумал, что прикосновение это вызвано случайным толчком, но она не отстранилась, и каждый скачок колес отзывался ударом в плечо Мариоля, волновал его сердце и вызывал в нем трепет. Он уже не решался взглянуть на молодую женщину, скованный блаженством этой неожиданной близости, и думал, путаясь в мыслях, как одурманенный: «Возможно ли? Неужели возможно? Неужели мы теряем рассудок оба?»

Лошади снова пошли рысью, пришлось сесть. Тогда Мариоля внезапно охватило властное, непонятное желание быть особенно любезным с г-ном Прадоном, и он стал оказывать ему самые лестные знаки внимания. Чувствительный к комплиентам почти в такой же мере, как и его дочь, г-н де Прадон поддался лести, и вскоре его лицо снова приняло благодушное выражение.

Наконец доехали до плотины и покатали к горе, возвышавшейся в конце прямой дороги, проложенной среди песков. Слева ее откос омывала речка Понторсон, справа тянулись пастбища, поросшие низкой травой, которую кучер называл морским гребешком, а дальше пастбища постепенно уступали место дюнам, еще пропитанным сочащейся морской водой.

Высокое здание вздымалось на синем небе, где теперь четко вырисовывались все его детали: купол с колоколенками и башенками, кровля, ошетилившаяся водостоками в виде

ухмыляющихся химер и косматых чудищ, которыми наши предки в суеверном страхе украшали готические храмы.

В гостиницу, где был заказан завтрак, приехали только около часу. Хозяйка, предвидя опоздание, еще не приготовила его; пришлось подождать. Поэтому за стол сели очень поздно; все сильно проголодались. Шампанское сразу же всех развеселило. Все были довольны, а два сердца чувствовали себя на грани блаженства. За десертом, когда возбуждение от выпитого вина и удовольствие от беседы разлили в телах ту радость бытия, которая одушевляет нас к концу хорошей трапезы и настраивает со всем соглашаться и все одобрять, Мариоль спросил:

– Не остаться ли нам здесь до завтра? Как чудесно было бы вечером полюбоваться луной и вместе поужинать!

Г-жа де Бюрн тотчас же приняла предложение, согласились и двое мужчин. Одна только г-жа Вальсази колебалась – из-за сына, который остался дома, но муж уговорил ее, напомнив, что ей уже не раз приходилось так отлучаться. Он тут же, не сходя с места, написал телеграмму бонне. Ему очень нравился Мариоль, который, желая польстить, похвалил плотину и высказал мнение, что она вовсе не настолько вредит красоте горы, как обычно говорят.

Встав из-за стола, они пошли осматривать аббатство. Решили идти вдоль укреплений. Городок представляет собою кучку средневековых домов, громоздящихся друг над другом на огромной гранитной скале, на самой вершине которой высится монастырь; городок отделен от песков высокой зубчатой стеной. Эта стена круто поднимается в гору, огибая старый город и образуя выступы, углы, площадки, дозорные башни, которые на каждом повороте открывают перед изумленным взором все новые просторы широкого горизонта. Все приумолкли, слегка разомлев после обильного завтрака, но всё вновь и вновь изумлялись поразительному сооружению. Над ними, в небе, высился причудливый хаос стрел, гранитных цветов, арок, перекинутых с башни на башню, – неправдоподобное, огромное и легкое архитектурное кружево, как бы вышитое по лазури, из которого выступала, вырывалась, словно для взлета, сказочная и жуткая свора водосточных желобов со звериными мордами. Между морем и аббатством, на северной стороне горы, за последними домами начинался угрюмый, почти отвесный склон, называемый Лесом, потому что он порос старыми деревьями; он выступал темно-зеленым пятном на безбрежных желтых песках. Г-жа де Бюрн и Андре Мариоль, шедшие впереди, остановились, чтобы посмотреть вниз. Она оперлась на его руку, оцепенев от небывалого восторга. Она поднималась легко и готова была всю жизнь так подниматься с ним к этому сказочному храму и даже еще выше, к чему-то неведомому. Ей хотелось, чтобы этот крутой склон тянулся бесконечно, потому что здесь она в первый раз в жизни чувствовала почти полное внутреннее удовлетворение.

Она прошептала:

– Боже! Какая красота!

Он ответил, глядя на нее:

– Я не в силах думать ни о чем, кроме вас.

Она возразила, улынувшись:

– Я женщина не особенно поэтичная, но мне здесь так нравится, что я не на шутку потрясена.

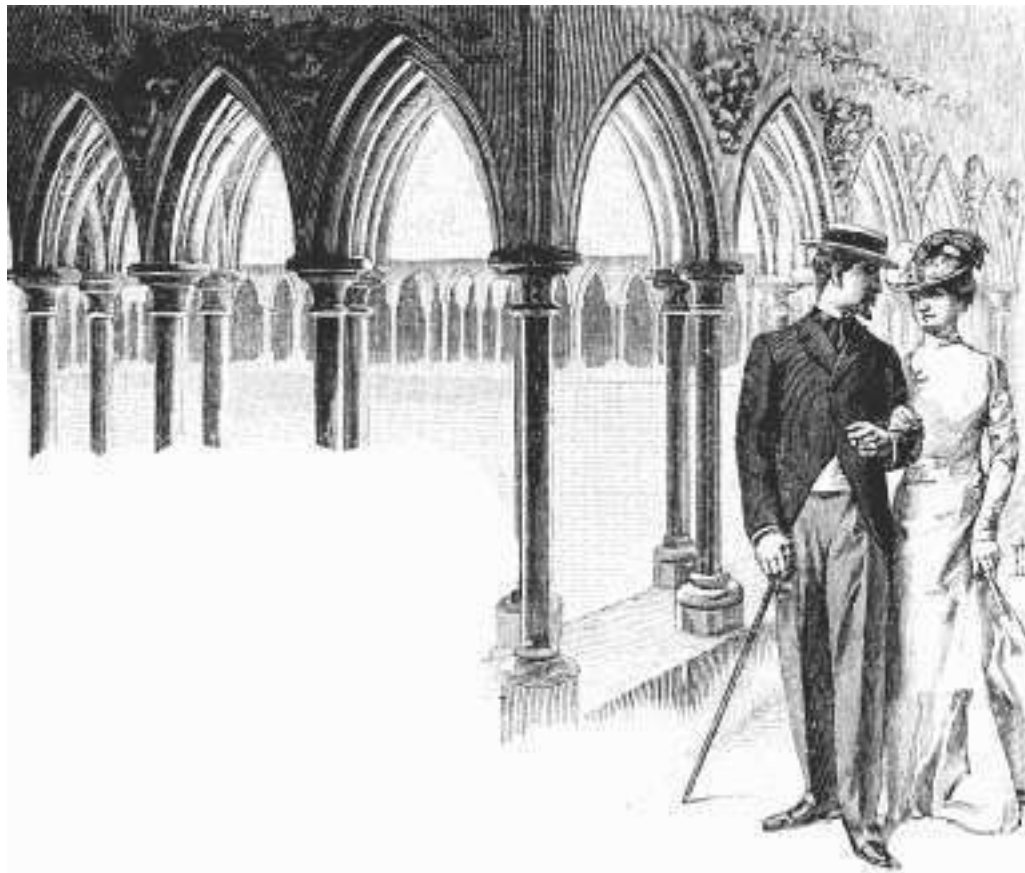
Он прошептал:

– А я... я люблю вас безумно.

Он почувствовал, как она слегка пожала его руку, и они продолжали путь.

У ворот аббатства их встретил сторож, и они поднялись между двумя громадными башнями по великолепной лестнице, которая привела их в караульное помещение. Затем они стали переходить из зала в залу, со двора во двор, из кельи в келью, слушая объяснения, дивясь, восхищаясь всем, всем любуясь: склепом с его толстыми столбами, прекрасными мощными, огромными колоннами, поддерживающими алтарь верхней церкви, и всем этим чудом – гран-

диозным трехэтажным сооружением, состоящим из готических построек, воздвигнутых одна над другой, самым необыкновенным созданием средневекового монастырского и военного зодчества.



Наконец они дошли до монастыря. Когда они увидели большой квадратный двор, окруженный самой легкой, самой изящной, самой пленительной из монастырских колоннад всего мира, они были так поражены, что невольно остановились. Двойной ряд тонких невысоких колонн, увенчанных прелестными капителями, несет на себе вдоль всех четырех галерей непрерывную гирлянду готических орнаментов и цветов, бесконечно разнообразных, созданных неисчерпаемой выдумкой, изящной и наивной фантазией простодушных старинных мастеров, руки которых воплощали в камне их мысли и мечты.

Мишель де Бюрн и Андре Мариоль, под руку, не спеша обошли весь двор, тогда как остальные, немного утомившись, любовались издали, стоя у ворот.

– Боже, как мне здесь нравится! – сказала она, остановившись.

Он ответил:

– А я уже совсем потерял представление о том, где я, что я вижу, что со мной происходит. Я только чувствую, что вы подле меня, – вот и все.

Тогда она, улыбаясь, взглянула ему прямо в лицо и прошептала:

– Андре!

Он понял, что она отдается ему. Они не сказали больше ни слова и пошли дальше.

Продолжался осмотр здания, но они уже почти ни на что не глядели.

На мгновение их, однако, отвлекла заключенная в арке кружевная лестница, перекинутая прямо по воздуху от одной башенки к другой, словно для того, чтобы взбираться на облака. И снова они были изумлены, когда дошли до «Тропы безумцев» – головокружительной гранитной дорожки без перил, которая вьется почти до самой вершины последней башни.

– Можно по ней пройти? – спросила она.

– Запрещено, – ответил сторож.

Она вынула двадцать франков. Сторож заколебался. Все семейство, и так уже ошеломленное отвесной кручей и безграничным пространством, стало возражать против такой неосторожности.

Она спросила Мариоля:

– А вы пойдете, правда?

Он засмеялся:

– Мне удавалось преодолевать и более трудные препятствия.

И, не обращая внимания на остальных, они отправились.

Он шел впереди, по узкому карнизу у самого края бездны, а она пробиралась за ним, скользя вдоль стены, закрыв глаза, чтобы не видеть зияющей у ног пропасти, взволнованная, почти теряя сознание от страха, вцепившись в руку, которую он ей протягивал; но она чувствовала, что он непоколебим и не упадет в обморок, что он уверен в себе, ступает твердой поступью, и она с восхищением думала, несмотря на страх: «Вот настоящий мужчина!» Они были одни в пространстве, на такой высоте, где парят лишь морские птицы, они возвышались над горизонтом, по которому беспрерывно проносились белокрылые чайки, всматриваясь в даль желтыми глазками.

Почувствовав, что она дрожит, Мариоль спросил:

– Голова кружится?

Она прошептала:

– Немного. Но с вами я не боюсь.



Тогда, приблизившись к ней, он обнял ее одной рукой, чтобы поддержать, и она почувствовала такое успокоение от этой грубоватой мужской помощи, что даже решилась поднять голову и посмотреть вдаль.

Он почти нес ее, а она вверялась ему, наслаждаясь мощным покровительством человека, который ведет ее по воздуху, и чувствовала к нему признательность, романтическую женскую признательность за то, что он не портит поцелуями этот полет, полет двух чаек.

Когда они вернулись к своим спутникам, ожидавшим их в крайней тревоге, г-н де Прадон вне себя сказал дочери:

– Что за глупости ты делаешь!

Она ответила убежденно:

– Это не глупость, раз она удалась. То, что удается, папа, никогда не бывает глупо.

Он пожал плечами, и они стали спускаться. Задержались еще у привратника, чтобы купить фотографии, и когда добрались до гостиницы, наступало уже время обеда. Хозяйка посоветовала совершить еще небольшую прогулку по пескам, чтобы полюбоваться горю со стороны моря, откуда, по ее словам, открывается самый восхитительный вид.

Несмотря на усталость, все снова отправились в путь и, обогнув укрепления, немного углубились в коварные дюны, зыбкие, хоть и твердые на вид, где нога, ступив на разостланный

под нею прекрасный желтый ковер, казавшийся плотным, вдруг глубоко погружалась в обманчивый золотистый ил.

С этой стороны аббатство, внезапно утратив вид морского собора, который так поражает, когда смотришь на него с берега, приобрело, как бы в угрозу океану, воинственный вид феодального замка с высокой зубчатой стеной, прорезанной живописными бойницами и поддерживаемой гигантскими контрфорсами, циклопическая кладка которых вросла в подошву этой причудливой горы. Но г-жу де Бюэн и Андре Мариоля уже ничто не интересовало. Они думали только о себе, оплетенные сетями, которые расставили друг другу, замурованные в той темнице, куда ничего уже не доносится из внешнего мира, где ничего не видишь, кроме одного-единственного существа.

Когда же они очутились за столом перед полными тарелками, при веселом свете ламп, они очнулись и почувствовали, что голодны.

Обед затянулся, а когда он кончился, то за приятной беседой забыли о лунном свете. Никому, впрочем, не хотелось выходить, и никто об этом не заговаривал. Пусть полная луна серебрит поэтическими переливами мелкие волны прилива, уже наступающего на пески с еле уловимым жутким шорохом, пусть она освещает змеящиеся вокруг горы укрепления, пусть среди неповторимой декорации безбрежного залива, блистающего от ползущих по дюнам отблесков, кладет романтические тени на башенки аббатства – больше уже не хотелось смотреть ни на что.

Еще не было десяти часов, когда г-жа Вальсази, одолеваемая сном, предложила ложиться спать. Все без возражений согласилось с ней и, обменявшись дружескими пожеланиями спокойной ночи, разошлись по своим комнатам.

Андре Мариоль знал, что не заснет; он зажег две свечи на камине, распахнул окно и стал любоваться ночью.

Все тело его изнемогало под пыткой бесплодных желаний. Он знал, что она здесь, совсем близко, отделенная от него лишь двумя дверями, а приблизиться к ней было так же невозможно, как задержать морской прилив, затоплявший все кругом. Он ощущал в груди потребность кричать, а нервы его были так напряжены от тщетного, неутоленного желания, что он спрашивал себя, что же ему с собою делать, – потому что он больше не в силах выносить одиночество в этот вечер неосуществленного счастья.

И в гостинице, и на единственной извилистой улице городка постепенно затихли все звуки. Мариоль все стоял, облокотясь на подоконник, глядя на серебряный полог прилива, сознавая только, что время течет, и не решался лечь, словно предчувствуя какую-то радость.

Вдруг ему показалось, что кто-то взялся за ручку двери. Он резко повернулся. Дверь медленно отворилась. Вошла женщина; голова ее была прикрыта белым кружевом, а на тело накинута одна из тех свободных домашних одежд, которые кажутся сотканными из шелка, пуха и снега. Она тщательно затворила за собою дверь, потом, словно не замечая его, стоящего в светлом пролете окна и сраженного счастьем, она направилась прямо к камину и задула обе свечи.

II

Они условились встретиться на другой день утром у подъезда гостиницы, чтобы проститься. Андре Мариоль спустился первым и ждал ее появления с щемящим чувством тревоги и блаженства. Что она скажет? Какою будет? Что станет с нею и с ним? В какую полосу жизни – то ли счастливую, то ли гибельную – он ступил? Она может сделать из него все, что захочет, – человека, погруженного в мир грез, подобно курильщикам опиума, или мученика, – как ей вздумается. Он беспокойно шагал возле двух экипажей, которые должны были разъехаться в

разные стороны: ему предстояло закончить путешествие через Сен-Мало, чтобы довершить обман, остальные же возвращались в Авранш.

Когда он увидит ее вновь? Сократит ли она свое пребывание у родственников или задержится там? Он страшно боялся ее первого взгляда и первых слов, потому что в минуты краткого ночного объятия не видел ее и они почти ничего не сказали друг другу. Она отдалась без колебаний, но с целомудренной сдержанностью, не наслаждаясь, не упиваясь его ласками; потом ушла своей легкой походкой, прошептав: «До завтра, мой друг».

От этой быстрой, странной встречи у Андре Мариоля осталось еле уловимое чувство разочарования, как у человека, которому не довелось собрать всю жатву любви, казавшуюся ему уже созревшей, и в то же время осталось опьянение победой и, следовательно, надежда, почти уверенность, что вскоре он добьется от нее полного самозабвения.

Он услышал ее голос и вздрогнул. Она говорила громко, по-видимому, недовольная какой-то прихотью отца, и когда она показалась на верхних ступеньках лестницы, на губах ее лежала сердитая складка.

Мариоль направился к ней; она его увидела и стала улыбаться. Ее взгляд вдруг смягчился и принял ласковое выражение, разлившееся по всему лицу. А взяв ее руку, протянутую порывисто и нежно, он почувствовал, что она подтверждает принесенный ею дар и делает это без принуждения и раскаяния.

– Итак, мы расстаемся? – сказала она.

– Увы, сударыня! Не могу выразить, как мне это тяжело.

Она промолвила:

– Но ведь не надолго.

Г-н де Прадон подходил к ним, поэтому она добавила совсем тихо:

– Скажите, что собираетесь дней на десять в Бретань, но не ездите туда.

Г-жа де Вальсази в большом волнении подбежала к ним.

– Что это папа говорит? Ты собираешься ехать послезавтра? Подождала бы хоть до будущего понедельника.

Г-жа де Бюрн, слегка нахмурившись, возразила:

– Папа нетактичен и не умеет молчать. Море вызывает у меня, как всегда, очень неприятные невралгические явления, и я действительно сказала, что мне надо уехать, чтобы потом не пришлось лечиться целый месяц. Но сейчас не время говорить об этом.

Кучер Мариоля торопил его, чтобы не опоздать к поезду.

Г-жа де Бюрн спросила:

– А вы когда думаете вернуться в Париж?

Он сделал вид, что колеблется.

– Не знаю еще; мне хочется посмотреть Сен-Мало, Брест, Дуарненез, бухту Усопших, мыс Раз, Одиерн, Пенмарк, Морбиган – словом, объездить весь знаменитый бретонский мыс. На это потребуется...

Помолчав, будто высчитывает, он решил преувеличить:

– Дней пятнадцать-двадцать.

– Это долго, – возразила она, смеясь. – А я, если буду чувствовать себя так плохо, как в эту ночь, через два дня вернусь домой.

Волнение стеснило ему грудь, ему хотелось крикнуть: «Благодарю!», но он ограничился тем, что поцеловал – поцеловал как любовник – руку, которую она протянула ему на прощание.

Обменявшись бесчисленными приветствиями, благодарностями и уверениями во взаимном расположении с супругами Вальсази и г-ном де Прадоном, которого он несколько успокоил, объявив о своем путешествии, Мариоль сел в экипаж и уехал, оглядываясь в сторону г-жи де Бюрн.

Он вернулся в Париж, нигде не задерживаясь и ничего не замечая в пути. Всю ночь, прикорнув в вагоне, полускрыв глаза, скрестив руки, с душой, поглощенной одним-единственным воспоминанием, он думал о своей воплотившейся мечте. Едва он оказался дома, едва кончилось его путешествие и он снова погрузился в тишину своей библиотеки, где обычно проводил время, где занимался, где писал, где почти всегда чувствовал себя спокойно и уютно в обществе своих любимых книг, рояля и скрипки, – в душе его началась та нескончаемая пытка нетерпения, которая, как лихорадка, терзает ненасытные сердца. Пораженный тем, что он не может ни на чем сосредоточиться, ничем заняться, что ничто не в силах не только поглотить его мысли, но даже успокоить его тело, – ни привычные занятия, которыми он разнообразил жизнь, ни чтение, ни музыка, – он задумался: что же сделать, чтобы умерить этот новый недуг? Его охватила потребность – физическая необъяснимая потребность – уйти из дому, ходить, двигаться; охватил приступ беспокойства, которое от мысли передалось телу и было не чем иным, как инстинктивным и неукротимым желанием искать и вновь обрести кого-то.

Он надел пальто, взял шляпу, отворил дверь и, уже спускаясь по лестнице, спросил себя: «Куда я?» И у него возникла мысль, над которой он еще не задумывался. Ему нужно было найти приют для их свиданий – укромную, простую и красивую квартиру.

Он искал, ходил, обегал улицы за улицами, авеню и бульвары, тревожно приглядывался к угодливо улыбавшимся привратницам, хозяйкам с подозрительными лицами, к квартирам с сомнительной мебелью и вечером вернулся домой в унынии. На другое утро, с девяти часов, он снова принялся за поиски и наконец, уже в сумерках, отыскал в одном из переулков Отейля⁶, в глубине сада с тремя выходами, уединенный флигелек, который местный обойщик обещал ему обставить в два дня. Он выбрал обивку, заказал мебель – совсем простую, из морёной сосны, – и очень мягкие ковры. Сад находился под присмотром булочника, жившего поблизости. С женой его он сговорился насчет уборки квартиры. Соседний садовод взялся сделать клумбы.

Все эти хлопоты задержали его до восьми часов, а когда он пришел домой, изнемогая от усталости, его сердце забило при виде телеграммы, лежавшей на письменном столе. Он вскрыл ее.

«Буду дома завтра вечером, – писала г-жа де Бюрн. – Ждите указаний. Миш.»

Он еще не писал ей, боясь, что письмо пропадет, раз она должна уехать из Авранша. Сразу же после обеда он сел за письменный стол, чтобы выразить ей все, что он чувствовал. Он писал долго и с трудом, ибо все выражения, фразы и самые мысли казались ему слабыми, несовершенными, нелепыми для передачи его нежной и страстной признательности.

В письме, которое он получил на другое утро, она подтверждала, что вернется в тот же вечер, и просила его не показываться никому несколько дней, чтобы все верили в его отсутствие. Кроме того, она просила его прийти на следующий день, часов в десять утра, в Тюильрийский сад, на террасу, возвышающуюся над Сеной.

Он явился туда часом раньше и бродил по обширному саду, где мелькали лишь ранние прохожие, чиновники, спешившие в министерства на левом берегу, служащие, труженики разных профессий. Он сознательно отдавался удовольствию наблюдать за этими торопливо бегущими людьми, которых забота о хлебе насущном гнала к их притупляющим занятиям, и, сравнивая себя с ними в этот час, когда он ждал свою возлюбленную, одну из владычиц мира, он чувствовал себя таким баловнем судьбы, существом столь счастливым, столь далеким от жизненной борьбы, что ему захотелось возблагодарить голубые небеса, ибо провидение было для него лишь сменою лазури и ненастья, в зависимости от Случая, коварного властелина людей и дней.

За несколько минут до десяти часов он поднялся на террасу и стал всматриваться.

⁶ Отейль – в старину один из пригородов Парижа, в эпоху действия романа – XVI округ французской столицы.

«Опаздывает», – подумал он. Не успел он расслышать десять ударов, пробивших на одной из соседних башен, как ему показалось, что он узнает ее издали, что это она идет по саду торопливым шагом, как продавщица, спешащая в свой магазин. Он сомневался: она ли это? Он узнавал ее походку, но его удивляла перемена в ее внешности, такой скромной в простом темном платье. А она в самом деле направлялась к лестнице, ведущей на террасу, и шла уверенно, словно бывала тут уже много раз.



«Вероятно, – подумал он, – ей нравится это место и она иногда гуляет здесь». Он наблюдал, как она подобрала платье, поднимаясь на первую каменную ступеньку, как легко прошла остальные, а когда он устремился к ней, чтобы ускорить встречу, она с ласковой улыбкой, таившей беспокойство, сказала ему:

– Вы очень неосторожны. Не надо ждать так, на самом виду. Я увидела вас почти что с улицы Риволи. Пойдемте посидим на скамейке, вон там, за оранжереей. Там и ждите меня в другой раз.

Он не мог удержаться и спросил:

– Значит, вы часто здесь бываете?

– Да, я очень люблю это место. Я люблю гулять рано по утрам и прихожу сюда любоваться этим прелестным видом. Кроме того, здесь никогда никого не встречаешь, в то время как Булонский лес нестерпим. Но никому не выдавайте этой тайны.

Он засмеялся:

– Еще бы!

Осторожно взяв ее руку, маленькую руку, прятанную в складках одежды, он вздохнул:

– Как я люблю вас! Я истомился, ожидая вас! Получили вы мое письмо?

– Да, благодарю. Оно меня очень тронуло.

– Значит, вы не сердитесь на меня?

– Да нет. За что же? Вы так милы.

Он подыскивал пламенные, трепетные слова, чтобы высказать свою признательность и волнение. Не находя их и слишком волнуясь, чтобы выбирать выражения, он повторил:

– Как я люблю вас!

Она сказала:

– Я предложила вам прийти сюда, потому что здесь тоже вода и пароходы. Конечно, это не то, что там, но и здесь неплохо.

Они сели на скамеечке, у каменной балюстрады, тянувшейся вдоль Сены, и оказались почти одни. Два садовника да три няньки с детьми были в этот час единственными живыми существами на обширной террасе.

У ног их по набережной катили экипажи, но они не видели их. Совсем близко, под стеной, спускающейся от террасы, раздавались шаги, а они, не находя еще что сказать друг другу, смотрели на этот красивый парижский вид, начинающийся островом Сен-Луи и башнями собора Богоматери и кончающийся Медонскими холмами. Она повторила:

– Как здесь все-таки хорошо!

Но его вдруг пронзило вдохновляющее воспоминание об их восхождении в небеса с вершин аббатства, и, терзаемый сожалением о пронесшемся порыве чувства, он сказал:

– Помните, сударыня, наш взлет у Тропы безумцев?

– Еще бы... Но теперь, когда я вспоминаю об этом, мне становится страшновато. Боже, как закружилась бы у меня голова, если бы пришлось это повторить. Я тогда совсем опьянела от воздуха, солнца и моря. Взгляните, друг мой, как прекрасно и то, что у нас сейчас перед глазами. Я очень люблю Париж.

Он удивился, смутно почувствовав, что в ней уже недостает чего-то, мелькнувшего там, на вершине.

Он прошептал:

– Не все ли равно где, лишь бы быть возле вас!

Она молча пожала ему руку. Это легкое пожатие наполнило его большим счастьем, нежели сделали бы ласковые слова; сердце его избавилось от стеснения, тяготившего его до сих пор, и он мог наконец заговорить.

Он сказал ей медленно, почти что в торжественных выражениях, что отдал ей жизнь навеки, что она может делать с ним, что захочет.

Она была ему благодарна, но, как истая дочь своего времени, отравленная сомнениями, как безнадежная пленница подтачивающей иронии, она, улыбнувшись, возразила:

– Не берите на себя таких больших обязательств.

Он совсем повернулся к ней и, глядя ей в самые глаза, глядя тем проникновенным взглядом, который кажется прикосновением, он повторил ей только что сказанное – более странно, более пылко, более поэтично. Все, что он ей писал в стольких восторженных письмах, он выражал теперь с такой пламенной убежденностью, что она внимала ему, как бы паря в облаках фимиама. Всем своим женским существом она ощущала ласку этих обожающих губ, ласку, какой она еще никогда не знала.

Когда он умолк, она ответила ему просто:

– И я тоже вас очень люблю.

Теперь они держались за руки, как подростки, шагающие бок о бок по проселочной дороге, и затуманенным взором наблюдали, как по реке ползут пароходики. Они были одни в Париже, среди смутного, немолчного, далекого и близкого гула, который носился над ними в

этом городе, полном жизни, они были здесь в большем уединении, чем на вершине воздушной башни, и на несколько мгновений действительно забыли, что на земле есть еще что-то, кроме них.

К ней первой вернулось ощущение реальности и сознание, что время идет.

– Хотите опять встретиться здесь завтра? – спросила она.

Он подумал несколько секунд и смутился от того, о чем собирался просить:

– Да... да... разумеется. Но... разве мы никогда не увидимся в другом месте?... Здесь уединенно... однако... всякий может сюда прийти.

Она колебалась.

– Вы правы... А кроме того, вы не должны никому показываться еще, по крайней мере, недели две, чтобы все верили, что вы путешествуете. Будет так мило и так таинственно встречаться с вами, в то время как все думают, что вас нет в Париже. Но пока что я не могу вас принимать. Поэтому... я не представляю себе...

Он почувствовал, что краснеет, но сказал:

– И я не могу просить вас заехать ко мне. Может быть, есть другая возможность, другое место?

Как женщина практическая, свободная от ложной стыдливости, она не удивилась и не была возмущена.

– Да, конечно. Но об этом надо подумать.

– Я уже подумал...

– Уже?

– Да.

– И что же?

– Знаете вы улицу Вьё-Шан в Отейле?

– Нет.

– Она выходит на улицы Турнмин и Жан-де-Сож.

– Ну а дальше?

– На этой улице, или, вернее, в этом переулке, есть сад, а в саду – домик, из которого можно выйти также и на те две улицы, которые я назвал.

– Ну а дальше?

– Этот домик ждет вас.

Она задумалась, потом все так же непринужденно задала два-три вопроса, подсказанных ей женской осторожностью. Он дал разъяснения, по-видимому, удовлетворившие ее, потому что она сказала, вставая:

– Хорошо, завтра приду.

– В каком часу?

– В три.

– Я буду ждать вас за калиткой. Дом номер семь. Не забудьте. Но когда пойдете мимо, постучите.

– Хорошо. До свидания, мой друг. До завтра!

– До завтра. До свидания. Благодарю! Я боготворю вас!

Они стояли рядом.

– Не провожайте меня, – сказала она. – Побудьте здесь минут десять, потом идите набережной.

– До свидания.

– До свидания.

Она пошла очень быстро, с таким скромным, благонравным, деловым видом, что была совсем похожа на тех стройных и трудолюбивых парижских девушек, которые утром бегут по улицам, торопясь на работу.

Он приказал везти себя в Отейль; его терзало опасение, что квартира не будет готова завтра.

Но она оказалась полна рабочих. Стены были уже обиты штофом, на паркете лежали ковры. Всюду мыли, стучали, вбивали гвозди. В саду, остатках старинного парка, довольно обширном и нарядном, было несколько высоких и старых деревьев, густых рощиц, создававших видимость леса, две лиственных беседки, две лужайки и дорожки, вившиеся вокруг куп деревьев; местный садовник уже посадил розы, гвоздику, герань, резеду и десятка два других растений, цветение которых можно путем внимательного ухода ускорить или задержать, чтобы потом в один день превратить неводеланную землю в цветущие клумбы.

Мариоль был рад, словно добился нового успеха; он взял с обойщика клятву, что вся мебель будет расставлена по местам завтра до полудня, и пошел по магазинам за безделушками, чтобы украсить этот уголок внутри. Для стен он выбрал несколько превосходных репродукций знаменитых картин, для каминов и столиков – дэковский фаянс и несколько мелочей, которые женщины любят всегда иметь под рукой.

За день он истратил свой двухмесячный доход и сделал это с огромным наслаждением, подумав, что целых десять лет он экономил не из любви к сбережениям, а из-за отсутствия потребностей, и это позволяло ему теперь роскошествовать, как вельможе.



На другой день он уже с утра был во флигельке, принимал доставленную мебель, распорядился ее расстановкой, сам развешивал рамки, лазил по лестницам, курил благовония, опрыскивал духами ткани, ковры. В этой лихорадке, в этом восторженном возбуждении, охватившем все его существо, ему казалось, что он занят самым увлекательным, самым упоительным делом, каким занимался когда-либо. Он поминутно глядел на часы, вычислял, сколько времени отделяет его от мгновения, когда войдет она; он торопил рабочих, волновался, стараясь все устроить получше, расставить и сочетать предметы как можно удачнее.

Из предосторожности он отпустил рабочих, когда еще не пробило двух часов. И в то время, как стрелки медленно обходили последний круг по циферблату, в тиши этой обители, где он ожидал величайшего счастья, на какое когда-либо мог рассчитывать, наедине со своей грезой, переходя из спальни в гостиную и обратно, разговаривая вслух, мечтая, бредя, он наслаждался такой безумной любовной радостью, какой не испытывал еще никогда.

Потом он вышел в сад. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, ложились на траву и как-то особенно пленительно освещали клумбу с розами. Значит, и само небо старалось украсить это свидание. Затем он притаился за калиткой, но временами приотворял ее, боясь, как бы г-жа де Бюрн не ошиблась.

Пробило три удара, на которые тотчас же отозвалось несколько фабричных и монастырских башенных часов. Теперь он ждал с часами в руках, и когда раздались два легких удара в дверь, к которой он приложился ухом, он встрепенулся от удивления, потому что не уловил ни малейшего звука шагов.

Он отворил; это была она. Она смотрела на все с удивлением. Прежде всего она тревожным взором окинула ближайšie дома, но сразу успокоилась, так как у нее, конечно, не могло быть знакомых среди тех скромных мещан, которые ютились здесь; затем она с любопытством и удовольствием осмотрела сад; наконец, сняв перчатки, приложила обе руки к губам своего возлюбленного, потом взяла его под руку.

Она твердила на каждом шагу:

– Боже! Вот прелесть! Какая неожиданность! Как очаровательно!

Заметив клумбу с розами, расцвеченную солнцем, пробившимся сквозь ветви, Мишель воскликнула:

– Да это как в сказке, мой друг!

Она сорвала розу, поцеловала ее и приколола к корсажу. Они вошли в домик; у нее был такой довольный вид, что ему хотелось стать перед нею на колени, хотя в глубине сердца он и чувствовал, что ей следовало бы, пожалуй, побольше заниматься им и поменьше окружающим. Она глядела вокруг, возбужденная и радостная, словно девочка, которая забавляется новой игрушкой. Не чувствуя смущения в этой изящной могиле ее женской добродетели, она хвалила изысканность обстановки с восторгом знатока, вкусам которого угодили. Идя сюда, она боялась найти пошлую квартиру с поблекшей обивкой, оскверненной предшествующими свиданиями. Тут же, наоборот, все было ново, неожиданно, кокетливо, создано нарочно для нее и обошлось, вероятно, очень дорого. Человек этот, право же, совершенство!



Она повернулась к нему и подняла руки чарующим призывным движением; закрыв глаза, они обнялись, слившись в поцелуе, который дает странное и двойственное ощущение – блаженства и небытия.

Три часа провели они в непроницаемой тишине этого уединения, тело к телу, уста к устам, и душевное опьянение Андре Мариоля слилось наконец с опьянением плоти.

Перед разлукой они прошлись по саду и сели в одной из лиственных беседок, откуда их нельзя было видеть. Восторженный Андре говорил с нею благоговейно, как с кумиром, сошедшим ради него со священного пьедестала, а она его слушала, истомленная усталостью, отражение которой он часто замечал в ее взгляде после затянувшегося визита докучливых гостей. Она все же была приветлива, лицо ее освещалось нежной, несколько принужденной улыбкой, и, держа его руку, она сжимала ее долгим пожатием, скорее невольным, чем сознательным.

Она, по-видимому, не слушала того, что он ей говорил, потому что, прервав его в середине фразы, сказала:

– Решительно мне пора идти. В шесть часов я должна быть у маркизы де Братиан, и я уже сильно запаздываю.

Он бережно проводил ее до двери, которую отворил ей при входе. Они поцеловались, и, бросив на улицу беглый взгляд, она пошла, держа как можно ближе к стене.

Как только он остался один, как только почувствовал внезапную пустоту, которую оставляет в нас женщина, исчезая после объятий, и странную царапину в сердце, наносимую удаляющимися шагами, ему показалось, что он покинут и одинок, словно он ничего не сохранил от нее. И он стал шагать по песчаным дорожкам, размышлял о вечном противоречии между надеждой и действительностью.

Он пробыл здесь до темноты, постепенно успокаиваясь и отдаваясь ей издали с большим самозабвением, нежели отдавалась она, когда была в его объятиях; потом вернулся домой, пообедал, не замечая того, что ест, и сел ей писать.

Следующий день показался ему долгим, вечер – нескончаемым. Он снова написал ей. Как это она не ответила ему, ничего не велела передать? На второй день, утром, он получил краткую телеграмму, назначавшую свидание на завтра, в тот же час. Этот клочок голубой бумаги сразу излечил его от недуга ожидания, который уже начинал его терзать.

Она явилась, как и в первый раз, вовремя, приветливая, улыбающаяся, и их встреча во флигельке ничем не отличалась от первой. Андре Мариоль, сначала удивленный и смутно взволнованный тем, что не ощущал в их отношениях той восторженной страсти, приближение которой он предчувствовал, но еще более влюбленный чувственно, понемногу забывал мечту об ожидаемом обладании, испытывая несколько иное счастье в обладании обретенном. Он привязывался к ней узами ласк, самыми опасными, неразрывными, теми единственными узами, от которых никогда уже не освободиться мужчине, если они крепко обхватят его и так вопьются, что выступит кровь.

Прошло три недели, таких сладостных, таких мимолетных! Ему казалось, что этому не будет конца, что он всегда будет жить так, исчезнув для всех и существуя для нее одной; и в его увлекающейся душе, душе художника, ничего не создавшего, вечно томимого ожиданием, рождалась призрачная надежда на скромную, счастливую и замкнутую жизнь.

Мишель приходила раза два в неделю, не сопротивляясь, привлекаемая, должно быть, столько же радостью этих свиданий, очарованием домика, превратившегося в оранжерею редких цветов, и новизною этих любовных отношений, отнюдь не опасных, раз никто не имел права выслеживать ее, и все же полных тайны, – сколько и почтительной, все возрастающей нежностью ее возлюбленного.

Но как-то она сказала ему:

– Теперь, друг мой, вам пора снова появиться в свете. Приходите ко мне завтра днем. Я сказала, что вы вернулись.

Он был в отчаянии.

– Ах, зачем так скоро! – воскликнул он.

– Потому что, если бы случайно узнали, что вы в Париже, ваше уединение показалось бы слишком необъяснимым, возбудило бы подозрения.

Он согласился, что она права, и обещал прийти к ней на другой день. Потом спросил:

– Значит, у вас завтра приемный день?

– Да, – ответила она. – И даже маленькое торжество.

Это было ему неприятно.

– Какое торжество?

Она смеялась, очень довольная.

– Я при помощи разных ухищрений добилась от Масиваля, чтобы он сыграл у меня свою Дидону⁷, которую еще никто не слышал. Это поэма об античной любви. Госпожа де Братиан,

⁷ Дидона – одна из героинь «Энеиды» Вергилия, легендарная основательница Карфагена. Во время своих странствий герой поэмы Эней попал в Карфаген и стал возлюбленным Дидоны, но затем бросил ее, и царица, страстно влюбленная в него, полная безутешного отчаяния, покончила жизнь самоубийством.

считавшая себя единственной обладательницей Масиваля, в полном отчаянии. Впрочем, она тоже будет, она ведь поет. Не молодчина ли я?

– Много будет гостей?

– О нет, только несколько самых близких. Вы почти со всеми знакомы.

– Нельзя ли мне уклониться от этого концерта? Я так счастлив в своем уединении.

– О нет, друг мой. Поймите же, вы для меня самый главный.

Сердце его забилося.

– Благодарю, – сказал он. – Приду.

III

– Здравствуйте, дорогой господин Мариоль.

Он обратил внимание, что теперь он уже не «дорогой друг», как в Отейле. И последовавшее за этим краткое рукопожатие было поспешным рукопожатием женщины, занятой, озабоченной, поглощенной светскими обязанностями. Он направился в гостиную, в то время как г-жа де Бюрн пошла навстречу прекраснейшей г-же Ле Приёр, чуть-чуть иронически прозванной «богиней» за смелые декольте и притязания на скульптурность форм. Ее муж был академик по разряду Надписей и Изящной Словесности.

– А, Мариоль! – воскликнул Ламарт. – Где вы пропадали? Мы уже думали, что вас нет в живых.

– Я путешествовал по Финистеру⁸.

Он стал делиться впечатлениями, но романист прервал его:

– Вы знакомы с баронессой де Фремин?

– Нет, знаю ее только в лицо. Но я много о ней слышал. Говорят, она очень интересна.

– Это королева заблудших, но она упоительна, от нее веет самой изысканной современностью. Пойдемте, я вас представлю ей.

Он взял Мариоля под руку и повел его к молодой женщине, которую всегда сравнивали с куколкой, бледной и очаровательной белокурой куколкой, придуманной и сотворенной самим дьяволом на погибель большим бородатым детям. У нее были продолговатые, узкие, красивые глаза, немного подтянутые к вискам, как у китайцев; взгляд их, отливавший голубой эмалью, струился между век, редко открывавшихся совсем, меж медлительных век, созданных, чтобы что-то скрывать, чтобы беспрестанно опускать завесу над тайной этого существа.

Ее очень светлые волосы отливали серебряными шелковистыми оттенками, и изящный рот с тонкими губами был, казалось, намечен миниатюристом, а затем обведен легкой рукой чеканщика. Голос ее кристально вибрировал, а ее неожиданные острые мысли, полные творной прелести, были своеобразны, злы и причудливы.

Развращающее, холодное очарование и невозмутимая загадочность этой истерической девчонки смущали окружающих, порождая волнение и бурные страсти. Она была известна всему Парижу как самая экстравагантная и к тому же самая остроумная светская женщина из подлинного света, хотя никто в точности не знал, кто она такая и что собою представляет. Она покоряла мужчин своим неотразимым могуществом. Муж ее тоже был загадкой. Благодушный и барственный, он, казалось, ничего не замечал. Была ли то слепота, безразличие или снисходительность? Быть может, ему нечего было замечать, кроме экстравагантностей, которые, несомненно, забавляли и его самого? Впрочем, мнения о нем сильно расходились. Передавали и очень дурные слухи. Доходило до намеков, будто он извлекает выгоду из тайной порочности жены.

⁸ Финистер – один из северо-западных бретонских департаментов Франции.

С г-жой де Бюрн ее связывало взаимное смутное влечение и дикая зависть; периоды их близости чередовались с приступами исступленной вражды. Они нравились друг другу, друг друга боялись и стремились одна к другой, как два заядлых дуэлиста, из которых каждый высоко ценит противника и мечтает его убить.

В настоящее время торжествовала баронесса де Фремин. Она только что одержала победу, и крупную победу: она отвоевала Ламарта, отбила его у соперницы, разлучила и приблизила к себе, чтобы приручить его и открыто записать в число своих завязанных поклонников. Романист был, по-видимому, увлечен, заинтересован, очарован и ошеломлен всем тем, что обнаружил в этом невероятном создании; он не мог удержаться, чтобы не говорить о ней с первым встречным, и это уже стало вызывать толки.

В тот момент, когда он представлял Мариоля, г-жа де Бюрн бросила на него взгляд с другого конца гостиной, и он улыбнулся, шепнув своему другу:

– Посмотрите, как недовольна здешняя повелительница.

Андре взглянул, но г-жа де Бюрн уже повернулась к Масивалю, показавшемуся из-за приподнятой портьеры.

Почти сразу же вслед за ним появилась маркиза де Братиан, и это дало Ламарту повод сострить:

– А знаете, мы ведь будем присутствовать при втором исполнении *Дидоны*. Первое, как видно, состоялось в карете маркизы.

Г-жа де Фремин добавила:

– Право, очаровательная Мишель теряет лучшие жемчужины своей коллекции.

В сердце Мариоля вдруг пробудилась злоба, почти ненависть к этой женщине и внезапная неприязнь ко всему этому обществу, к жизни этих людей, к их понятиям, вкусам, их мелочным интересам, их пустым развлечениям. И воспользовавшись тем, что Ламарт склонился к молодой даме и стал говорить ей что-то вполголоса, он повернулся и отошел.

Прекрасная г-жа Ле Приёр сидела одна, в нескольких шагах от него. Он подошел поздороваться с ней. По словам Ламарта, в этой передовой среде она была представительницей старины. Молодая, высокая, красивая, с очень правильными чертами лица, с каштановыми волосами, сверкавшими огненными искрами, приветливая, пленяющая своим спокойствием и доброжелательностью, невозмутимым и в то же время умным кокетством, великим желанием нравиться, скрытым за внешне искренней и простой сердечностью, она снискала себе верных поклонников, которых тщательно оберегала от опасных соперниц. Ее салон состоял из близких друзей, которые, впрочем, единодушно восхваляли также и достоинства ее мужа.

Между нею и Мариолем завязался разговор. Она очень ценила этого умного и сдержанного человека, о котором мало говорили, в то время как он стоил, пожалуй, больше многих других.

Входили запоздавшие приглашенные: толстяк Френель, запыхавшийся, проводил в последний раз платком по всегда влажному, лоснящемуся лбу; великосветский философ Жорж де Мальтри; потом, вместе, барон де Гравиль и граф де Марантен. Г-н де Прадон с дочерью встречали гостей. С Мариолем г-н де Прадон был очень любезен. Но Мариоль с сокрушением смотрел, как г-жа де Бюрн переходит от одного к другому, занятая всеми больше, чем им. Правда, два раза она бросила на него быстрый взгляд, как бы говоривший: «Я думаю о вас», но взгляд столь мимолетный, что он, быть может, ошибся в его значении. К тому же он не мог не замечать, что настойчивое ухаживание Ламарта за г-жой де Фремин раздражает г-жу де Бюрн. «Это, – думал он, – всего лишь досада кокетки, зависть светской женщины, у которой похитили ценную безделушку». Тем не менее он страдал от этого; особенно когда замечал, что она беспрестанно бросает на них украдкой беглые взгляды, но отнюдь не беспокоится, видя его возле г-жи Ле Приёр. Ведь его-то она крепко держит, в нем она уверена, между тем как другой

ускользает от нее. В таком случае что же значит для нее их любовь, их только что родившаяся любовь, которая из его души вытеснила все прочие помыслы?

Г-н де Прадон призвал к вниманию, и Масиваль уже открыл рояль, а г-жа де Братиан, снимая перчатки, подходила к нему, чтобы спеть любовные восторги Дидоны, как дверь вновь отворилась и вошел молодой человек, привлечший к себе все взоры. Это был высокий стройный блондин, с завитыми бакенбардами, короткими вьющимися волосами и безупречно аристократической внешностью. Даже на г-жу Ле Приёр он, видимо, произвел впечатление.

– Кто это? – спросил ее Мариоль.

– Как?! Вы его не знаете?

– Да нет.

– Граф Рудольф фон Бернхауз.

– Ах, тот, у которого была дуэль с Сижисмоном Фабром?

– Да.

История эта наделала много шума. Граф фон Бернхауз, советник австрийского посольства, дипломат с большим будущим, прозванный «изящным Бисмарком», услышав на одном официальном приеме непочтительный отзыв о своей государыне, вызвал оскорбителя, знаменитого фехтовальщика, на дуэль и убил его. После этой дуэли, ошеломившей общественное мнение, граф фон Бернхауз в один день стал знаменитостью, вроде Сары Бернар⁹, с той разницей, что его имя было окружено ореолом рыцарской Доблести. Впрочем, это был очаровательный, безукоризненно воспитанный человек, приятный собеседник, Ламарт говорил о нем: «Это укротитель наших прекрасных львиц».

Он с почтительным видом занял место возле г-жи де Бюрн, а Масиваль сел за рояль, и его пальцы пробежали по клавиатуре.

Почти все слушатели пересели, устроились поближе, чтобы лучше слышать и видеть певицу. Ламарт оказался плечом к плечу с Мариолем.

Наступила глубокая тишина, полная напряженного внимания, настороженности и благоговения; потом пианист начал с медленного, очень медленного чередования звуков, казавшегося музыкальным повествованием. Сменялись паузы, легкие повторы, вереницы коротких фраз, то изнемогающих, то нервных, тревожных, но неожиданно своеобразных. Мариоль погрузился в мечты. Ему представлялась женщина, царица Карфагена, прекрасная своей зрелой юностью и вполне расцветшей красотой, медленно идущая по берегу моря. Он понимал, что она страдает, что в душе ее – великое горе; и он всматривался в г-жу де Братиан.

Неподвижная, бледная под копной черных волос, как бы окрашенных ночным мраком, итальянка ждала, устремив вперед неподвижный взгляд. В ее энергичном, немного суровом лице, на котором темными пятнами выделялись глаза и брови, во всем ее мрачном облике, мощном и страстном, было что-то тревожное, как предвестие грозы, таящейся в сумрачном небе.

Масиваль, слегка покачивая кудрявой головой, продолжал рассказывать на звучных клавишах надрывающую сердце повесть.

Вдруг по телу певицы пробежал трепет; она приоткрыла рот и издала протяжный, душе-раздирающий вопль отчаяния. То не был крик трагической безнадежности, какие издают на сцене певцы, сопровождая их скорбными жестами, то не был и красивый стон обманутой любви, вызывающий в зале восторженные восклицания; это был вопль невыразимый, исторгнутый не душою, а плотью, похожий на вой раздавленного животного, – вопль покинутой

⁹ ... в один день стал знаменитостью, вроде Сары Бернар. – Своим первым и сразу же чрезвычайно шумным успехом знаменитая французская артистка (1844–1923) была обязана своему выступлению в пьесе Франсуа Коппе «Прохожий», поставленной в 1869 году.

самки. Потом она смолкла, а Масиваль все продолжал трепетную, еще более взволнованную, еще более мучительную повесть несчастной царицы, покинутой любимым человеком.



Затем снова раздался голос женщины. Теперь она говорила, она рассказывала о невыносимой пытке одиночества, о неутолимой жажде утраченных ласк и о мучительном сознании, что он ушел навсегда.

Ее теплый вибрирующий голос приводил сердца в трепет. Казалось, что эта мрачная итальянка с волосами темнее ночи выстрадала все, о чем она поет, что она любит или, по крайней мере, может любить с неистовым пылом. Когда она умолкла, ее глаза были полны слез; она не спеша стала вытирать их. Ламарт склонился к Мариолю и сказал, весь трепеща от восторга:

– Боже, как она прекрасна в этот миг, дорогой мой! Вот женщина, и другой здесь нет!

Потом, подумав, добавил:

– А впрочем, как знать. Быть может, это только мираж, созданный музыкой. Ведь, кроме иллюзии, ничего нет. Зато какое чудесное искусство – музыка! Как она создает иллюзии! И притом любые иллюзии!

В перерыве между первой и второй частями музыкальной поэмы композитора и певицу горячо поздравляли с успехом. Особенно восторгался Ламарт, и притом вполне искренне, потому что он был одарен способностью чувствовать и понимать и был одинаково чуток к любым проявлениям красоты. Он так пылко рассказал г-же де Братиан о том, что переживал, слушая ее, что она слегка покраснела от удовольствия, в то время как другие женщины, присутствовавшие при этом, испытывали некоторую досаду. Быть может, он и сам заметил, какое впечатление произвели его слова. Возвращаясь на свое место, он увидел, что граф Рудольф фон Бернхауз садится рядом с г-жой де Фремин. Она тотчас же сделала вид, что говорит ему что-то по секрету, и оба они улыбаются, словно эта задушевная беседа привела их в полный восторг. Мариоль, все больше и больше мрачневший, стоял, прислонясь к двери. Писатель подошел к нему. Толстяк Френель, Жорж де Мальтри, барон де Гравиль и граф де Марантен окружили г-жу де Бюрн, которая стоя разливала чай. Она была как бы в венке поклонников. Ламарт иронически обратил на это внимание своего друга и добавил:

– Впрочем, венки без драгоценностей, и я уверен, что она отдала бы все эти рейнские камешки за один недостающий бриллиант.

– Какой бриллиант? – спросил Мариоль.

– Да Бернхауз! Прекраснейший, неотразимый, несравненный Бернхауз! Тот, ради которого и устроен сегодняшний концерт, ради которого было совершено чудо: Масиваля уговорили привезти сюда его флорентийскую Дидону.

При всем своем недоверии Андре почувствовал, что сердце его разрывается от горя.

– Давно она с ним знакома? – спросил он.

– О, нет, дней десять самое большее. Но какие усилия она сделала за эту краткую кампанию и какую развернула завоевательную тактику! Если бы вы были здесь – посмеялись бы от души!

– Вот как? Почему?

– Она встретила его в первый раз у г-жи де Фремин. В тот день я там обедал. К Бернхаузу в этом доме очень расположены, в чем вы можете убедиться, – достаточно взглянуть на него сейчас; и вот, едва они познакомились, как наш прелестный друг, госпожа де Бюрн, принялась пленять несравненного австрийца. И ей это удастся, ей это удастся, хотя малютка де Фремин и превосходит ее циничностью, подлинным бездушием и, пожалуй, порочностью. Зато наш друг де Бюрн искуснее в кокетстве, она более женщина, – я хочу сказать: женщина современная, то есть неотразимая благодаря искусству пленять, которое теперь заменяет бывшее естественное очарование. И надо бы даже сказать, не искусство, а эстетика – глубокое понимание женской эстетики. Все ее могущество именно в этом. Она прекрасно знает самое себя, потому что любит себя больше всего на свете, и она никогда не ошибается в выборе средств для покорения мужчины, в том, как показать себя с лучшей стороны, чтобы пленить нас.

Мариоль стал возражать:

– Мне кажется, вы преувеличиваете; со мной она всегда держалась очень просто.

– Потому что простота – это прием, самый подходящий для вас. Впрочем, я не намерен о ней злословить; я нахожу, что она выше почти всех ей подобных. Но это вообще не женщины.

Несколько аккордов, взятых Масивалем, заставили их умолкнуть, и г-жа де Братиан спела вторую часть поэмы, где она предстала подлинной Дидоной, великолепной своей земною страстью и чувственным отчаянием.

Но Ламарт не отрывал глаз от г-жи де Фремин и графа фон Бернхауза, сидевших рядом. Как только последний звук рояля замер, заглушенный аплодисментами, он сказал раздраженно, словно продолжал какой-то спор, словно возражал противнику:

– Нет, это не женщины. Даже самые порядочные из них – ничтожества, сами того не сознающие. Чем больше я их узнаю, тем меньше испытываю то сладостное опьянение, которое должна вызывать в нас настоящая женщина. Эти тоже опьяняют, но при этом страшно воз-

буждают нервы; это не натуральное вино. О, оно превосходно при дегустации, но ему далеко до бывшего, настоящего вина. Дорогой мой, ведь женщина создана и послана в этот мир лишь для двух вещей, в которых только и могут проявиться ее подлинные, великие, превосходные качества: для любви и для материнства. Я рассуждаю, как господин Прюдом¹⁰. Эти же не способны на любовь и не желают детей; когда у них, по оплошности, родятся дети – это для них несчастье, а потом обуза. Право же, они чудовища.

Мариоль, удивленный резким тоном писателя и злобным огоньком, блестящим в его глазах, спросил:

– Тогда почему же вы полжизни проводите возле них?

Ламарт ответил с живостью:

– Почему? Почему? Да потому, что это меня интересует. И наконец... Что же, вы запретите врачам посещать больницы и наблюдать болезни? Такие женщины – моя клиника, вот и все.

Это соображение, казалось, успокоило его. Он добавил:

– Кроме того, я обожаю их потому, что они вполне современны. В сущности, я в такой же мере мужчина, в какой они женщины. Когда я более или менее привязываюсь к одной из них, мне занятно обнаруживать и изучать все то, что меня от нее отталкивает, и я занимаюсь этим с тем же любопытством, с каким химик принимает яд, чтобы испытать его свойства.

Помолчав, он продолжал:

– Поэтому я никогда не попадусь на их удочку. Я пользуюсь их же оружием, притом владею им не хуже, чем они, может быть, даже лучше, и это полезно для моих сочинений, в то время как им все то, что они делают, не приносит никакой пользы. До чего они глупы! Это все неудачницы, прелестные неудачницы, и тем из них, которые на свой лад чувствительны, остается только чахнуть с горя, когда они начинают стареть.

Слушая его, Мариоль чувствовал, как его охватывает грусть, гнетущая тоска, словно пронизывающая сырость ненастных дней. Он знал, что в общем писатель прав, но не хотел допустить, чтобы он был прав вполне.

Поэтому он стал, немного раздражаясь, спорить, не столько чтобы защитить женщин, сколько для того, чтобы выяснить, почему в современной литературе их изображают такими изменчиво-разочарованными.

– В те времена, когда романисты и поэты восхваляли их и возбуждали в них мечтательность, они искали и воображали, что находят, в жизни эквивалент того, что сердца их предугадывали по книгам. Теперь же вы упорно устраняете все поэтическое и привлекательное и показываете лишь отрезвляющую реальность. А если, друг мой, нет любви в книгах, – нет ее и в жизни. Вы создавали идеалы, и они верили в ваши создания. Теперь вы только изобразители правдивой действительности, и вслед за вами и они уверовали в пошлость жизни.

Ламарт, любивший литературные споры, стал было возражать, но к ним подошла г-жа де Бюрн.

В этот день она была обворожительно одета и как-то особенно хороша, а сознание борьбы придавало ей смелый, вызывающий вид.

Она села.

– Вот это я люблю, – сказала она, – застигнуть двух беседующих мужчин, когда они говорят, не рисуясь передо мною. К тому же вы здесь единственные, которых интересно послушать. О чем вы спорите?

¹⁰ Я рассуждаю, как господин Прюдом – то есть с банальной наставительностью. Образ Прюдома, напыщенного, дидактического и ограниченного буржуа, был создан французским писателем-сатириком Анри Мопассаном (1799–1877).

Не смущаясь, тоном светского насмешника Ламарт объяснил ей сущность спора. Потом он повторил свои доводы с еще большим воодушевлением, подстрекаемый желанием понравиться, которое испытывают в присутствии женщины все жаждущие славы.

Она сразу заинтересовалась темой спора и с увлечением приняла в нем участие, защищая современных женщин очень умно, тонко и находчиво. Несколько фраз, непонятных для писателя, о том, что даже самые ненадежные из них могут оказаться верными и любящими, заставили забиться сердце Мариоля. Когда она отошла, чтобы сесть возле г-жи де Фремин, которая упорно не отпускала от себя графа фон Бернхауза, Ламарт с Мариолем, очарованные ее женской мудростью и изяществом, единодушно признали, что она, бесспорно, восхитительна.

– Посмотрите-ка на нее! – добавил писатель.

Шла великая дуэль. О чем говорили они, австриец и две женщины? Г-жа де Бюрн подошла как раз в тот момент, когда продолжительное уединение двух людей, мужчины и женщины, даже если они нравятся друг другу, становится однообразным. И она нарушила это уединение, пересказав с возмущенным видом все, что только что слышала из уст Ламарта. Все это, конечно, могло относиться и к г-же де Фремин, все это шло от последнего завоеванного ею поклонника, все это повторялось при человеке очень тонком, который сумеет понять. Снова разгорелся спор на вечную тему о любви, и хозяйка дома знаком пригласила Ламарта и Мариоля присоединиться к ним. Потом, когда голоса зазвучали громче, она подозвала всех остальных.

Завязался общий спор, веселый и страстный; каждый вставил свое слово, а г-жа де Бюрн, приправляя даже самые потешные свои суждения крупницей чувства, быть может, притворного, сумела показать себя самой остроумной и забавной, ибо в этот вечер она действительно была в ударе, была оживленна, умна и красива, как никогда.

IV

Как только Мариоль расстался с г-жой де Бюрн и стали ослабевать чары ее присутствия, он почувствовал в самом себе и вокруг себя, в теле своем, в душе и во всем мире исчезновение той радости жизни, которая поддерживала и воодушевляла его с некоторых пор.

Что же произошло? Ничего, почти ничего. Она была очень мила с ним в конце этого вечера, раза два сказала ему взглядом: «Для меня здесь нет никого, кроме вас». И все же он чувствовал, что она призналась ему в чем-то, чего он предпочел бы не знать. Это тоже было ничто, почти ничто; тем не менее он был поражен, словно человек, обнаруживший, что его мать или отец совершили неблаговидный поступок, когда узнал, что в течение последних трех недель, тех трех недель, которые он считал без остатка отданными, посвященными ею, как и им, минута за минутой столь новому и столь яркому чувству их расцветшей любви, – она вернулась к прежнему образу жизни, сделала множество визитов, начала хлопотать, строить планы, возобновила отвратительную любовную войну, побеждала соперниц, завоевывала мужчин, с удовольствием выслушивала комплименты и расточала свое очарование перед другими, а не только перед ним.

Уже! Она уже увлекалась всем этим! О, позже он не удивился бы. Он знал свет, женщин, чувства, он был достаточно умен, чтобы все понять, и никогда не допустил бы в себе ни чрезмерной требовательности, ни мрачной недоверчивости. Она была прекрасна, была создана, чтобы нравиться, чтобы принимать поклонение и пошлые похвалы. Среди всех она выбрала его, отдалась ему смело и гордо. Он все равно по-прежнему остался бы признательным рабом ее прихотей и безропотным свидетелем ее жизни – жизни красивой женщины. Но что-то страдало в нем, в том темном уголке, на дне души, где таятся самые сокровенные чувства.

Конечно, он был не прав и всегда бывал не прав с тех пор, как себя помнил. Он проходил по свету с излишней настороженностью. Оболочка его души была слишком нежна. Отсюда та

своего рода отчужденность, в которой он жил, опасаясь трений и обид. Он был не прав, ибо эти обиды почти всегда вызываются тем, что мы не терпим в окружающих черт, несвойственных нам самим. Ему это было известно, он это часто наблюдал в других и все же был не в силах унять свое волнение.

Разумеется, ему не в чем было упрекнуть г-жу де Бюрн. Если она в течение этих дней счастья, дарованного ею, и держала его в затворе, вдали от своего салона, так только для того, чтобы отвлечь внимание, обмануть соглядатаев, а затем безмятежно принадлежать ему. Откуда же эта печаль, закрававшаяся в сердце? Откуда? Да ведь он воображал, что она отдалась ему всецело, теперь же он понял, почувствовал, что никогда ему не удастся завладеть и безраздельно обладать ее разносторонней и общительной натурой.

Правда, он прекрасно знал, что вся жизнь построена на зыбких основаниях, и до сего времени мирился с этим, скрывая свою неудовлетворенность под нарочитой нелюдимостью. Но на этот раз ему показалось, что он наконец обретет «полную меру», которую беспрестанно ждал, на которую беспрестанно надеялся. Но «полная мера» – не от мира сего.

Вечер прошел тоскливо, и Мариоль старался доводами рассудка побороть свое тягостное впечатление.

Когда он лег, это впечатление, вместо того чтобы рассеяться, еще возросло, а так как он всегда пристально изучал самого себя, он стал доискиваться малейших причин своих новых душевных мук. Они проходили, уносились, вновь возвращались, как легкие дуновения ледяного ветра, примешивая к его любви боль – еще слабую, отдаленную, но мучительную, похожую на те неопределенные невралгии, вызванные сквозняком, которые грозят жестокими страданиями.

Прежде всего он понял, что он ревнует, – уже не только как неистовый влюбленный, но как самец-обладатель. До тех пор пока он снова не увидел ее среди мужчин – ее поклонников, он не знал этого чувства, хотя отчасти и предвидел его, но представлял его себе иным, совсем не таким, каким оно теперь обернулось. Когда он вновь увидел свою любовницу, которая в дни их тайных и частых свиданий, в пору их первых объятий, должна была бы замкнуться в уединении и в горячем чувстве, – когда он вновь увидел ее и заметил, что она не меньше, а, пожалуй, даже больше прежнего увлекается и тешится все тем же пустым кокетством, что она по-прежнему расточает самое себя перед первым встречным, так что на долю ее избранника могут остаться лишь крохи, – он почувствовал, что ревнует телом еще больше, чем душой, и теперь это было чувство не смутное, как назревающий недуг, а вполне определенное, потому что он усомнился в ней.

Сначала он усомнился инстинктивно, благодаря глухому недоверию, проникшему скорее в его кровь, чем в мысль, благодаря почти физической боли, которая охватывает мужчину, когда он не уверен в своей подруге. Усомнившись, он стал подозревать.

Что он ей, в конце концов? Первый любовник, десятый? Прямой преемник мужа, г-на де Бюрна, или преемник Ламарга, Масиваля, Жоржа де Мальтри и, быть может, предшественник графа фон Бернхауза? Что ему известно о ней? Что она восхитительно красива, что она изящна, умна, изысканна, остроумна, зато изменчива, быстро утомляется, охладевает, пресыщается, что она прежде всего влюблена в самое себя и безгранично кокетлива. Был ли у нее любовник – или любовники – до него? Если бы их у нее не было, разве отдалась бы она ему так смело? Откуда взялась бы у нее дерзость войти к нему в комнату, на постоялом дворе, ночью? Пришла бы разве она потом так легко в отейльский флигелек? Прежде чем принять его приглашение, она только задала несколько вопросов, вполне естественных для опытной и осторожной женщины. Он ответил ей как человек осмотрительный, привычный к таким свиданиям; и она тотчас же сказала «да», доверчивая, успокоенная, вероятно, уже умудренная опытом прежних походов.

С какой сдержанной властью постучалась она в дверцу, за которой он ждал ее, ждал изнемогающий, с бьющимся сердцем. Как уверенно она вошла, без малейших внешних признаков волнения, желая только убедиться в том, что ее не могут увидеть из соседних домов. Как она сразу почувствовала себя дома в этом подозрительном убежище, снятом и обставленном для ее греховных утех. Могла ли женщина – пусть смелая, стоящая выше житейской морали, презирующая предрассудки – так спокойно погрузиться в неизвестность этой первой встречи, будь она не искушена в таких делах?

Разве не испытала бы она душевного смятения, нерешительности, инстинктивной робости, ступая на этот путь, разве не почувствовала бы она всего этого, если бы не имела некоторого опыта в этих любовных вылазках, если бы привычка к таким вещам уже не притупила ее врожденной стыдливости?

Разгоряченный терзающей, невыносимой лихорадкой, которую душевные страдания рождают в тепле постели, Мариоль метался, увлекаемый цепью своих предположений, как человек, скользящий по наклонной плоскости. Временами он пытался остановить их поток и разрушить их последовательность, он подыскивал, находил, лелеял разумные и успокаивающие мысли, но в нем таился зачаток страха, и он не мог воспрепятствовать его росту.

А между тем в чем он мог бы ее упрекнуть? Разве только в том, что она не вполне похожа на него, что она понимает жизнь не так, как он, и что чувствительные струны ее сердца не вполне созвучны с его струнами?

На другой день, как только он проснулся, в нем стало расти, словно голод, желание вновь увидеть ее, восстановить возле нее свое поколебленное доверие, и он стал ждать положенного часа, чтобы отправиться туда с первым официальным визитом.

Когда он вошел в маленькую гостиную, где она в одиночестве писала письма, она встала ему навстречу, протянув обе руки.

– Здравствуйте, милый друг, – сказала она с такой живой и искренней радостью, что все дурные мысли, тень которых еще витала в его уме, мгновенно улетучились.

Он сел возле нее и сразу стал говорить о том, как он ее любит, потому что теперь он ее любил уже не так, как прежде. Он ласково объяснял ей, что на свете существуют две породы влюбленных: одни безумствуют от вожделений, но пыл их остывает на другой же день после победы; других обладание покоряет и привязывает; у этих последних чувственной любви сопутствуют духовные, неизъяснимые призывы, с которыми мужское сердце иной раз обращается к женщине, и это порождает великую поработченность, поработченность всепоглощающей и мучительной любви.

Да, мучительной, всегда мучительной, какую бы счастливой она ни была, потому что ничто не может утолить, даже в мгновения наибольшей близости, ту потребность в ней, которую мы носим в своем сердце.

Г-жа де Бюрен слушала его очарованная, благодарная и воодушевлялась его словами, как воодушевляется зритель, когда актер с увлечением играет роль и когда эта роль трогает нас, отзываясь эхом в нашей собственной душе. А это действительно звучало как эхо, волнующее эхо искренней страсти; но не в ней кричала эта страсть. Однако она была так довольна тем, что зародила подобное чувство, так довольна, что это случилось с человеком, который может так его выражать, с человеком, который ей положительно очень нравится, к которому она начинает очень привязываться, который становится ей все более и более необходим – не для тела ее, не для плоти, а для ее таинственного женского существа, всегда жаждущего ласки, поклонения, покорности; была так рада, что ей хотелось поцеловать его, отдать ему свои губы, отдать всю себя, чтобы он не переставал боготворить ее.



Она отвечала ему без притворства и жеманной стыдливости, с большим искусством, каким одарены некоторые женщины, и дала понять, что и он многого достиг в ее сердце. И, сидя в этой гостиной, где в тот день случайно никто не появлялся до самых сумерек, они пробыли вдвоем, беседуя об одном и том же и лаская друг друга словами, которые имели неодинаковое значение для их душ.

Уже внесли лампы, когда приехала г-жа де Братиан, Мариоль откланялся; г-жа де Бюрн проводила его до большой гостиной, и он спросил:

- Когда же мы увидимся там?
- Хотите в пятницу?
- Разумеется. В котором часу?
- Как всегда – в три.
- До пятницы. Прощайте. Я боготворю вас!

В течение двух дней, отделявших его от этой встречи, он обнаружил в себе, он почувствовал такую пустоту, какой не испытывал еще никогда. Ему не доставало этой женщины, и ничто, кроме нее, для него не существовало. А так как эта женщина была недалеко, была доступна и только светские условности мешали ему видеть ее в любой момент, даже жить возле нее, он приходил в отчаяние от своего одиночества, от бесконечного потока мгновений, которые порою так медленно ползут, от полной невозможности осуществить такую простую вещь.

В пятницу он пришел на свидание за три часа до назначенного времени; но ему нравилось ждать там, куда она должна прийти; это успокаивало его после того, что он выстрадал, мысленно ожидая ее в таких местах, куда она прийти не могла.

Он стал за дверью задолго до того, как должны были пробить три долгожданных удара, а услышав их, задрожал от нетерпения. Он осторожно, чуть высунув голову, выглянул в переулок. Там не было ни души. Минуты казались ему мучительно долгими. Он беспрестанно вынимал часы, а когда стрелки добрались до половины, ему стало казаться, что он стоит на этом месте с незапамятных времен. Вдруг он различил легкие шаги на тротуаре, и когда она рукою

в перчатке постучала в деревянную дверцу, он забыл пережитую муку, растворившуюся в благодарности к ней.

Немного запыхавшись, она спросила:

– Я очень опоздала?

– Нет, не очень.

– Представьте себе, что мне чуть было не помешали. У меня был полон дом, и я решительно не знала, как всех их спровадить. Скажите, вы сняли этот домик на свое имя?

– Нет. А почему вы спрашиваете?

– Чтобы знать, кому послать телеграмму, если будет какое-нибудь непреодолимое препятствие.

– Я – господин Николь.

– Отлично. Я запомню. Боже, как хорошо здесь в саду!

Цветы, за которыми садовник заботливо ухаживал, обновляя и приумножая их, так как убедился, что заказчик платит щедро, не торгуясь, теперь пестрели среди лужайки пятью большими благоухающими островками.

Она остановилась у скамьи, возле клумбы с гелиотропом, и сказала:

– Посидим здесь немного. Я расскажу вам препотешную историю.

И она поделилась с ним совсем свеженькой сплетней, под впечатлением которой она еще находилась. Говорили, будто г-жа Масиваль, бывшая любовница композитора, на которой он впоследствии женился, проникла, потеряв голову от ревности, к г-же Братиан в самый разгар вечера, когда маркиза пела под аккомпанемент композитора, и устроила дикую сцену; в итоге – ярость итальянки, изумление и злорадство гостей.

Растерявшийся Масиваль пытался вывести, вытащить супругу, но та осыпала его щепочинами, вцепилась в бороду и волосы, кусалась, рвала на нем платье. Она впиалась в него, связала его движения, в то время как Ламарт и два лакея, прибежавшие на крик, старались вырвать его из когтей этой взбесившейся фурии.

Спокойствие водворилось лишь после того, как супруги уехали. С тех пор музыкант нигде не показывается, а романист, свидетель этой сцены, всюду рассказывает о случившемся с неподражаемым остроумием и фантазией.

Г-жа де Бюрн была так взволнована и поглощена этой историей, что только о ней и говорила. Имена Масиваля и Ламарта, не сходявшие с ее губ, раздражали Мариоля.

– Вы только что узнали об этом? – спросил он.

– Ну да, какой-нибудь час тому назад.

Он с горечью подумал: «Так вот почему она опоздала».

Потом он спросил:

– Пойдемте в комнаты?

Она рассеянно и покорно прошептала:

– Пойдемте.

Когда она час спустя рассталась с ним, потому что очень торопилась, он один вернулся в уединенный домик и сел на низенькую табуретку в их спальне. Во всем его существе, в его сердце осталось впечатление, что он обладал ею не больше, чем если бы она вовсе не пришла, и в нем раскрылась черная бездна, в глубь которой он теперь глядел. Он ничего там не видел, он не понимал. Он перестал понимать. Если она и не уклонялась от его объятий, то она уклонилась от его нежной любви, потому что в ней странно отсутствовало желание принадлежать ему. Она не отказалась отдаться, она не отстранялась, но сердце ее, по-видимому, не вошло в этот дом вместе с нею. Оно осталось где-то далеко-далеко, блуждающее, занятое мелочами.

Тогда он ясно понял, что теперь любит ее телом так же, как и душой, – быть может, даже больше. Разочарование, оставшееся после тщетных ласк, зажигало в нем неистовое желание броситься ей вслед, вернуть, вновь обладать ею. Но зачем? К чему это? Раз ее изменчивая

мысль занята сегодня чем-то другим! Значит, надо ждать, ждать дня и часа, когда этой вечно ускользающей любовнице среди других прихотей придет прихоть чувствовать себя влюбленной в него.

Он пошел домой не спеша, тяжелой поступью, очень утомленный, понурый, уставший от жизни. И тут он вспомнил, что они не назначили следующего свидания – ни у нее, ни в другом месте.

V

До наступления зимы она была более или менее верна их свиданиям. Верна, но не точна.

Первые три месяца она приходила с опозданием от сорока минут до двух часов. Так как из-за осенних дождей Мариолю приходилось теперь ждать ее за калиткою сада, у забора, в грязи, дрожа от сырости, он велел поставить деревянную будку, вроде сени, с крышею и стенами, чтобы не простужаться при каждой их встрече. Деревья стояли обнаженные, на месте роз и других растений теперь раскинулись высокие и широкие клумбы с белыми, розовыми, сиреневыми, красными, желтыми хризантемами, которые распространяли свое терпкое и пряное, немного печальное благоухание крупных, благородных осенних цветов в сыром воздухе, пропитанном грустным запахом дождя, струящегося на опавшие листья. Их редкие разновидности умело подобранных и искусственно подчеркнутых оттенков образовали перед входом в домик большой мальтийский крест нежных переливчатых тонов, и когда Мариоль проходил мимо этой клумбы, придуманной его садовником, где распускались все новые изумительные цветы, его сердце сжималось от мысли, что этот цветущий крест как бы обозначает могилу.



Он познал теперь долгие часы ожидания в будочке за калиткой. Дождь лил на солому, которую он распорядился покрыть крышу, и стекал с нее по дощатым стенам; и каждый раз, стоя в этой часовне ожидания, он перебирал в душе все те же думы, повторял те же рассуждения, проходил через те же надежды, те же тревоги и то же отчаяние.

Для него это была непредвиденная, беспрестанная нравственная борьба, ожесточенная, изнуряющая борьба с чем-то неуловимым, с чем-то, быть может, даже вовсе не существующим; борьба за сердечную нежность этой женщины. Как странны были их встречи!

То она являлась смеющаяся, горящая желанием поболтать, и садилась, не снимая шляпы, не снимая перчаток, не поднимая вуалетки, даже не поцеловав его. В такие дни ей нередко и в голову не приходило его поцеловать. В уме ее роилось множество посторонних мыслей, более заманчивых, чем желание протянуть губы возлюбленному, которого сдает отчаянная страсть. Он садился возле нее, с сердцем и устами, полными жгучих слов, не находивших исхода; он слушал ее, отвечал и, с виду очень заинтересованный тем, что она рассказывала, временами пробовал взять ее за руку. И она давала ее бессознательно, дружески и хладнокровно.

То она казалась более нежной, более принадлежащей ему; но, бросая на нее тревожные взгляды, проницательные взгляды влюбленного, бессильного покорить ее всецело, он понимал,

догадывался, что эта относительная нежность объясняется тем, что сегодня ее мысль не взволнована и не отвлечена никем и ничем.

К тому же ее постоянные опаздывания говорили о том, как мало стремилась она на эти свидания. Торопиться к тому, что любишь, что нравится, что влечет к себе, но никогда не спешишь к тому, что мало привлекает, и все тогда служит предлогом, чтобы замедлить или прервать поездку, чтобы оттянуть тягостный час. Странное сравнение с самим собою беспрестанно приходило ему в голову. Летом влечение к холодной воде заставляло его спешить с утренним туалетом, чтобы поскорее принять душ, в то время как в сильные холода он находил столько мелочей, которые надо было сделать перед уходом, что приходил в ванное заведение часом позже обычного. Отейльские встречи были для нее тем же, что душ зимою.

С некоторых пор, впрочем, она стала пропускать свидания, откладывая их на другой день, в последнюю минуту присылала депешу – казалось, выискивая препятствия и всегда находя вполне благовидные предлоги, но они все же повергали его в невыносимую душевную тревогу и физическое изнеможение.

Если бы она хоть чем-нибудь проявляла охлаждение к нему, малейшее утомление от его страсти, которая, как она видела и чувствовала, все возрастала, он, пожалуй, мог бы рассердиться, потом оскорбиться, потом впасть в уныние и, наконец, успокоиться. Она же, напротив, казалась как никогда привязанной к нему, как никогда польщенной его любовью, дорожащей ею, но отвечала ему лишь дружеским предпочтением, которое начинало возбуждать ревность остальных ее поклонников.

Как бы часто он ни бывал у нее, ей всегда этого казалось мало, и в той же телеграмме, в которой сообщала Андре о невозможности приехать в Отейль, она всегда настойчиво приглашала его прийти к обеду или посидеть часок вечером. Сначала он принимал эти приглашения за желание вознаградить его, но потом ему пришлось понять, что ей просто очень приятно его видеть, приятнее, чем остальных, что действительно он ей нужен, нужны его влюбленная речь, боготворящий взгляд, близость, как бы обволакивающая привязанность и сдержанная ласка его присутствия. Они были ей нужны, подобно тому, как идолу, чтобы стать истинным богом, нужны чьи-то молитвы и вера. В безлюдной часовне он всего лишь точеная деревяшка. Но если хоть один верующий войдет в святилище, станет поклоняться, взывать, повергаться ниц, стенать от усердия в упоении своей верою, идол станет равным Бrame, Аллаху или Христу, ибо всякое любимое существо – своего рода бог.

Г-жа де Бюрн больше, чем всякая другая, чувствовала себя созданной для роли фетиша, для миссии, которую природа предназначила женщинам, – быть предметом поклонения и искаательства, торжествовать над мужчинами своею красотой, изяществом, очарованием и кокетством.

Она действительно была той женщиной-богиней, хрупкой, высокомерной, требовательной и надменной, которую любовное преклонение самцов, точно фимиам, возвеличивает и обожествляет.

Между тем свое расположение к Мариолу и явное предпочтение ему она проявляла почти открыто, не боясь сплетен и, быть может, не без тайного умысла раздражить и воспламенить других. Теперь уже почти нельзя было прийти к ней, чтобы не застать его здесь сидящим в большом кресле, которое Ламарт называл «жреческим треном», и ей доставляло искреннее удовольствие проводить целые вечера с ним наедине, беседуя и слушая его.

Ей все больше нравилась та сокровенная жизнь, которую он открывал перед ней, и беспрестанное общение с приятным, просвещенным, образованным человеком, принадлежащим ей, ставшим ее собственностью, как безделушки, валяющиеся у нее на столе. Она и сама мало-помалу все больше раскрывалась перед ним, делясь с ним своими мыслями, своими затаенными мечтами в дружеских признаниях, которые так же приятно делать, как и выслушивать. Она чувствовала себя с ним свободнее, искреннее, откровеннее, непринужденнее, чем с дру-

гими, и любила его за это больше других. Как всякой женщине, ей было отраднo чувствовать, что она действительно дарит что-то, доверяет кому-то всю свою внутреннюю сущность, чего она никогда еще не делала.

Для нее это было много, но мало для него. Он ждал, он все надеялся на великую, окончательную победу над существом, которое отдает в ласках всю свою душу. Однако ласки она, по-видимому, считала излишними, докучными, даже тягостными. Она покорялась им, не была безразличной, но быстро уставала; а за этой усталостью, несомненно, следовала скука.

Даже самая легкая, самая незначительная ласка, по-видимому, утомляла и раздражала ее. Когда он, беседуя, брал ее руку и один за другим целовал ее пальцы, слегка вбирая их губами, как конфеты, ей, видимо, всегда хотелось отнять их, и он чувствовал в ее руке невольное сопротивление.

Когда, уходя от нее, он припадал долгим поцелуем к ее шее, между воротничком и золотистыми завитками на затылке, вдыхая ее аромат в складках материи, касающейся тела, она всегда слегка отстранялась и еле заметно ускользала от прикосновения его губ.

Он ощущал это, как удар ножа, и уносил с собою, в одиночество своей любви, раны, которые потом еще долго кровоточили. Почему ей не дано было пережить хотя бы тот краткий период увлечения, который следует почти у всех женщин за добровольным и бескорыстным даром своего тела? Часто он длится недолго, сменяясь сначала усталостью, потом отвращением. Но как редко случается, что он вовсе не наступает – ни на день, ни на час! Эта женщина сделала его не любовником, а каким-то чутким свидетелем своей жизни.

На что же он жалуется? Те, которые отдаются совсем, быть может, не дарят так много?

Он не жаловался: он боялся. Он боялся *другого* – того, который появится неожиданно, кого она встретит завтра или послезавтра, кто бы он ни был – художник, светский лев, офицер, актриска, того, кто рожден пленить ее женский взор и нравиться ей только потому, что он – тот самый, который впервые внушит ей властное желание раскрыть свои объятия.

Он уже ревновал ее к будущему, как временами ревновал к неизвестному прошлому; зато все друзья молодой женщины уже начинали ее ревновать к нему. Они говорили об этом между собою, а иногда даже осмеливались на осторожные, туманные намеки в ее присутствии. Одни считали, что он ее любовник. Другие придерживались мнения Ламарта и утверждали, что она, как обычно, забавляется тем, что кружит ему голову, а их доводит до ожесточения и отчаяния, – вот и все. Заволновался и ее отец; он сделал ей несколько замечаний, которые она выслушала свысока. И чем больше рос вокруг нее ропот, тем с большей настойчивостью она открыто выказывала свое предпочтение Мариолу, странным образом противореча своему обычному благоразумию.

Его же несколько беспокоили эти глухие подозрения. Он сказал ей о них.

– Какое мне дело! – ответила она.

– Если бы вы хоть действительно любили меня настоящей любовью!

– Да разве я не люблю вас, друг мой?

– И да и нет. Вы очень любите меня у себя дома и мало – в другом месте. Я предпочел бы обратное – для себя и даже для вас.

Она рассмеялась и прошептала:

– Каждый старается по мере сил.

Он возразил:

– Если бы вы знали, в какое волнение повергают меня тщетные старания воодушевить вас! То мне кажется, что я стремлюсь схватить что-то неуловимое, то я словно обнимаю лед, который замораживает меня, тая в моих руках.

Она ничего не ответила, потому что недолюбливала эту тему, и приняла тот рассеянный вид, который часто бывал у нее в Отейле.

Он не посмел настаивать. Он смотрел на нее с тем восхищением, с каким знатоки смотрят в музеях на драгоценные предметы, которые нельзя унести с собой.

Его дни, его ночи превратились в бесконечные часы страданий, потому что он жил с навязчивой мыслью, больше того – с неотступным ощущением, что она его и не его, что она покорена и непокорима, отдалась и не принадлежит ему. Он жил около нее, совсем близко, но она оставалась все такой же далекой, и он любил ее со всем неутоленным вожелением души и тела. Как и в начале их связи, он стал писать ей. Один раз он уже преодолел чернилами ее добродетель; быть может, чернилами же ему удастся преодолеть и это последнее – внутреннее и тайное сопротивление. Он стал посещать ее реже, зато почти ежедневно твердил ей в письмах о тщете своего любовного порыва. Время от времени, когда они бывали особенно красноречивы, страстны, скорбны, она отвечала ему.

Ее письма, нарочно помеченные полуночным часом, двумя и даже тремя часами ночи, были ясны, определены, хорошо обдуманы, благосклонны, ободряющи, но приводили в отчаяние. Она прекрасно рассуждала, вкладывала в них ум, даже фантазию. Но сколько бы он их ни перечитывал, какими бы ни считал их справедливыми, умными, хорошо написанными, изящными, лестными для его мужского самолюбия – он не находил в них души. Души в них было не больше, чем в поцелуях, которые она дарила ему в отейльском флигельке.

Он доискивался причин. И, твердя эти письма наизусть, он в конце концов так хорошо их изучил, что постиг эту причину: ведь в письмах узнаешь людей лучше всего. Слова ослепляют и обманывают, потому что их сопровождает мимика, потому что видишь, как они срываются с уст, – а уста нравятся, и глаза обольщают. Но черные слова на белой бумаге – это сама обнаженная душа.

Благодаря уловкам красноречия, профессиональной сноровке, привычке пользоваться пером для решения всевозможных повседневных дел мужчине часто удается скрыть свой характер за безличным – деловым или литературным – слогом. Но женщина пишет почти только для того, чтобы поговорить о себе, и в каждое слово вкладывает частицу своего существа. Ей неведомы ухищрения стиля, и в простодушных выражениях она выдает себя целиком. Он припоминал письма и мемуары знаменитых женщин, прочитанные им. Как отчетливо выступали там все они – и жеманницы, и остроумные, и чувствительные! А письма г-жи де Бюрн его особенно поражали тем, что в них никогда не заметно было ни крошки чувствительности. Эта женщина мыслила, но не чувствовала. Он вспоминал другие письма. Он получал их много. Одна мешаночка, с которой он познакомился во время путешествия, любила его в течение трех месяцев и писала ему прелестные письма, полные трепета, остроумия и неожиданностей. Он даже удивлялся гибкости, красочному изяществу и разнообразию ее слога. Чем объяснялся этот дар? Тем, что она была очень чувствительна, и только. Женщина не выбирает выражений: их подсказывает ее уму непосредственное чувство; она не роется в словарях. Когда она сильно чувствует, она выражается очень точно, без труда и ухищрений, под влиянием своей изменчивой искренности.

Именно неподдельную сущность своей любовницы и старался он обнаружить в строках, которые она писала ему. Она писала мило и тонко. Но почему у нее не находилось для него ничего другого? Он-то ведь нашел для нее слова, правдивые и жгучие, как уголья.

Когда камердинер подавал ему почту, он взглядом отыскивал на конверте желанный почерк и, узнав его, испытывал невольный трепет, сердце его начинало биться. Он протягивал руку и брал письмо. Снова смотрел на адрес, потом распечатывал конверт. Что она ему скажет? Будет ли там слово «любить»? Ни разу она его не написала, ни разу не произнесла, не добавив «очень». «Я вас очень люблю». «Я вас горячо люблю». «Разве я не люблю вас?» Он хорошо знал эти выражения, теряющие значение от того, что к ним прибавляется. Могут ли существовать различные степени, когда находишься во власти любви? Можно ли судить, хорошо ли ты любишь или дурно? Очень любить – как это мало! Когда любишь, – просто любишь, ни более,

ни менее. Это не нуждается ни в каких дополнениях. Сверх этого слова невозможно ничего ни придумать, ни сказать. Оно кратко, оно самодовлеющее. Оно становится телом, душой, жизнью, всем существом. Его ощущаешь, как теплоту крови, вдыхаешь, как воздух, носишь в себе, как Мысль, потому что оно становится единственной Мыслью. Кроме него, ничего не существует. Это не слово – это невыразимое состояние, изображенное несколькими буквами. Что бы ты ни делал, ты ничего не делаешь, ничего не видишь, ничего не чувствуешь, ничем не наслаждаешься, ни от чего не страдаешь так, как прежде. Мариоль стал жертвою этого коротенького глагола; и его глаза пробегали по строчкам, ища хоть признака нежности, подобной его чувству. Но он находил там только то, что позволяло сказать самому себе: «Она очень меня любит», но никак не воскликнуть: «Она любит меня!» В своих письмах она продолжала красивый и поэтический роман, начавшийся на горе Сен-Мишель. Это была любовная литература, а не любовь.

Кончив читать и перечитывать, он запирали эти дорогие и доводящие до отчаяния листки и садился в кресло. Он провел в нем уже немало тягостных часов.

Со временем она стала отвечать реже, по-видимому, устав слагать фразы и повторять все одно и то же. К тому же она переживала полосу светских волнений, и Андре чувствовал это с той острой болью, которую причиняют страждущим сердцам мелкие неприятности.

В эту зиму давалось много балов. Какой-то вихрь развлечений охватил и закружил Париж, и все ночи напролет по городу катили фиакры, кареты, за поднятыми стеклами которых мелькали, как белые видения, облики нарядных женщин. Все веселились; только и было разговору, что о спектаклях и балах, утренних приемах и вечерах. Эта жажда удовольствий, словно какое-то поветрие, внезапно захватила все слои общества и коснулась также и г-жи де Бюрн.

Началось это с балетного представления в австрийском посольстве, где ее красота имела шумный успех. Граф фон Бернхауз познакомил ее с женою посла, княгиней фон Мальтен, которую она сразу и окончательно пленила. Она в короткий срок стала ближайшим другом княгини и через нее быстро расширила свои связи в самых изысканных дипломатических и великосветских кругах. Ее изящество, обаяние, ум, элегантность, ее редкое остроумие способствовали ее быстрому триумфу, сделали ее модной, выдвинули в первый ряд, и самые знатные женщины Франции пожелали бывать у нее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.